

Я ничего не знала

Аксель Панцер

Аксель Панцер

Я ничего не знала

«Автор»

2026

Панцер А.

Я ничего не знала / А. Панцер — «Автор», 2026

Германия, 1930–1940-е годы. Семья Винтеров живёт обычной жизнью, пока политика постепенно не входит в школу, работу, дружбу и дом. Грета верит, что государство знает лучше. Её брат Пауль уходит на войну и всё глубже понимает цену приказа. Семью их еврейских друзей Леви лишают прав, дома и будущего, а Грета однажды узнаёт дату их депортации заранее — и молчит. Спустя годы она будет искать правду о судьбе Мириам, о смерти брата и о собственной ответственности. «Я ничего не знала» — роман не только о нацистской Германии, но и о том, сколько человеку достаточно знать, чтобы перестать быть просто свидетелем.

© Панцер А., 2026

© Автор, 2026

Я ничего не знала

АКСЕЛЬ ПАНЦЕР
Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЛА

роман

2026

ЧАСТЬ I ДОМ

Глава 1. Возвращение

Поезд пришёл в Айзенфельд вскоре после полудня, когда мартовское солнце уже поднялось над крышами, но ещё почти не грело. На платформе лежали полосы старого серого снега, из-под которых проступал мокрый гравий. Пауль Винтер спустился из вагона с чемоданом, портфелем и тем странным чувством, которое появляется, когда возвращаешься туда, где всё узнаваемо и всё почему-то стало меньше.

В конце марта 1932 года ему было двадцать четыре. Университет остался позади вместе с лекционными аудиториями, дешёвыми комнатами, бессонными ночами перед экзаменами и длинными разговорами о литературе, в которых каждый участник был уверен, что понимает Гёте лучше предыдущего поколения. Пауль сдал Erste Staatsprüfung (первый государственный экзамен) и теперь должен был пройти Referendariat (референдариат, педагогическую стажировку), прежде чем получит право претендовать на постоянное место учителя.

На перроне его ждал отец.

Эрнст Винтер стоял возле газетного киоска, засунув руки в карманы старого пальто. Он почти не изменился: та же крепкая фигура, та же кепка, тот же спокойный взгляд человека, который предпочитал сначала понять, что именно сломалось, и только потом браться за инструмент.

— Ну? — спросил он вместо приветствия.

— Что «ну»?

— Учёный?

— Почти.

— Значит, зря потратили деньги.

Пауль поставил чемодан и обнял его.

Отец хлопнул сына по спине, затем отстранился и посмотрел внимательнее.

— Худой.

— Мама скажет то же самое?

— Мать скажет хуже.

Они пошли к выходу. Возле киоска висели предвыборные плакаты; их было столько, что стены казались оклеенными разноцветной газетой. Одни обещали работу, другие порядок, третьи спасение Германии, четвёртые — спасение Германии от тех, кто обещал спасение Германии первым. На одном крупными буквами было написано: Arbeit und Brot! (Работа и хлеб! — нем.). Кто-то дописал углём ниже: Wo? (Где? — нем.).

Эрнст заметил, куда смотрит сын.

— Не читай. Глаза испортишь.

— А ты за кого?

— За того, кто починит третий пресс.

— Такой партии нет.

— Поэтому и не голосую с удовольствием.

Пауль улыбнулся. В отцовском исполнении политические разговоры почти всегда заканчивались заводом. За последние два года работы там стало меньше, смены сокращали, людей увольняли. Эрнст пока держался благодаря опыту: хороший механик был нужен даже предприятию, которое почти не выпускало продукции.

— Как завод?

— Стоит на месте.

— В прямом смысле?

— Почти. На прошлой неделе опять отправили десятерых домой. Пока на две недели.

— А потом?

— Если бы я знал, преподавал бы экономику вместо тебя.

Они вышли к привокзальной площади. Айзенфельд начинался сразу за ней: двух- и трёхэтажные дома, ратушная башня вдалеке, трамвайная линия, несколько магазинов, булочная, аптека. Пауль знал каждый поворот. На углу Марктгассе увидел знакомую вывеску:

S. Levi — Herren- und Damenschneiderei. (С. Леви — мужской и женский пошив. — нем.)

За витриной стоял манекен в сером костюме. Самуэль Леви сидел за раскройным столом, склонившись над тканью. Увидев Винтеров, он поднял голову, приложил ладонь к стеклу и немедленно вышел.

— Господин студент!

— Уже не студент.

— Тогда тем хуже. Студенты хотя бы иногда признают, что ничего не знают.

Самуэль был невысок, худощав, с аккуратно подстриженными усами и очками, которые постоянно сползали к кончику носа. Сантиметровая лента висела у него на шее так давно, что Пауль почти не мог представить портного без неё.

Из мастерской появилась Роза Леви.

— Пауль!

Она вытерла руки о передник и обняла его прежде, чем он успел поставить портфель.

— Дай посмотреть. Господи, совсем мужчина.

— До этого был кем?

— Не спорь со мной в первый же день.

Из глубины помещения донёсся голос Марты:

— Кто там?

— Твой университет вернулся! — крикнул Самуэль.

Марта появилась в дверях с булавками в руке. На секунду просто остановилась, затем лицо изменилось.

— Пауль.

— Привет, мама.

Она обняла его крепче, чем Роза, и сразу отступила.

— Худой.

Пауль посмотрел на отца.

Эрнст развёл руками.

— Я предупреждал.

Марта начала задавать вопросы одновременно: ел ли он в дороге, не простыл ли, почему не надел шарф, где второй чемодан и действительно ли диплом лежит в портфеле, а не потерян на станции. Пауль отвечал выборочно. Самуэль слушал с удовольствием.

— Вот почему я не учился в университете, — сообщил он Эрнсту. — Слишком опасно для здоровья матери.

— Ты не учился, потому что твой отец посадил тебя за машинку в шестнадцать лет.

— Не разрушай красивую легенду.

В мастерской всё было так же, как в детстве Пауля: запах ткани и мела, рулоны сукна вдоль стены, коробки с пуговицами, машинки, стук ножниц. Роза занималась женским пошивом, Самуэль — мужским, хотя оба вмешивались в работу друг друга и каждый был уверен, что делает это исключительно ради спасения предприятия. Марта работала у них много лет и знала привычки хозяев лучше, чем некоторые родственники.

— И когда в школу? — спросила Роза.

— Через два дня должен встретиться с директором.

— В ту самую?

— В ту самую.

Самуэль снял очки.

— Значит, вернёшься на место преступления.

Эрнст спросил:

— Какого?

— Я помню его учеником.

— Неправда, — сказал Пауль.

— Правда. Однажды он убеждал Мириам, что можно вырастить дерево из вишнёвой косточки прямо в кармане школьного пальто.

— Мне было девять.

— Дерево не выросло.

— Потому что Мириам выбросила косточку.

— Вот. Уже тогда женщины мешали науке.

Роза ударила мужа свёрнутой выкройкой.

Дом Винтеров находился в десяти минутах ходьбы. Грета должна была вернуться из школы позже, поэтому Пауль успел поставить чемодан в своей прежней комнате и удивиться тому, как мало она изменилась. Мать не превратила её в кладовую и даже оставила книги на старой полке. На столе лежала тетрадь, забытая Гретой, а рядом — засохший цветок в стакане.

Он только успел открыть окно, когда в коридоре хлопнула дверь.

— Он приехал?

Грета влетела в комнату, не снимая пальто. В четырнадцать она была всё той же младшей сестрой, которая сначала действовала, потом спрашивала. Волосы выбились из-под шапки, на щеке остался след чернил.

— Ты ужасно выросла, — сказал Пауль.

— Я всегда была высокой.

— Нет.

— Ты просто уехал маленьким.

Она обняла его, затем тут же отстранилась.

— Что привёз?

— Любовь старшего брата.

— Тогда можешь ехать обратно.

Из чемодана Пауль достал книгу — «Эффи Брист» Теодора Фонтане.

— Для тебя.

Грета пролистала.

— Это школьное?

— Нет.

— Тогда хорошо.

— Мириам покажешь?

— Конечно. Она сейчас читает быстрее меня и ужасно этим гордится.

Имя прозвучало так естественно, как и должно было. Мириам Леви была для Греты не «еврейской девочкой», не представительницей какой-либо общности, а подругой, с которой

она росла, ссорилась, мирилась, делила учебники и тайны. Паулю даже не пришло в голову думать об этом иначе.

За ужином отец рассказал о заводе подробнее. Мать слушала, не перебивая, хотя по её лицу было видно, что каждое сокращение смены она переводит в стоимость хлеба, угля и платы за квартиру. Пауль говорил о своём экзамене, о будущем Referendariat (референдариате, педагогической стажировке), о преподавателях университета. Грета съела больше всех и утверждала, что растёт.

— Если завтра вырастешь ещё на пять сантиметров, платье придётся перешивать, — предупредила Марта.

— Ты швея.

— Поэтому и предупреждаю.

Эрнст поднял кружку.

— За возвращение нашего учёного.

— Я пока не учёный.

— Тогда за то, чтобы однажды стал достаточно умным и перестал поправлять отца.

— Это невозможно.

— Я так и думал.

Через два дня Пауль снова вошёл в школьное здание, где провёл собственное детство. Старый смотритель Хольц узнал его сразу.

— Винтер?

— Доброе утро.

Хольц прищурился.

— Тот самый, который разбил окно в кабинете естествознания?

— Это был мяч.

— Значит, мяч тоже вернулся учителем?

— Стажёром.

— Пока.

Директор Карл Бремер принял Пауля без церемоний. Посмотрел документы, результаты Erste Staatsprüfung (первого государственного экзамена), несколько раз кивнул и сообщил, что наставником будет доктор Фабер.

Фабера Пауль помнил. Тот преподавал немецкую литературу ещё тогда, когда Пауль сидел на третьей парте у окна. За годы старый учитель словно стал суше: худое лицо, круглые очки, сдержанная манера говорить и привычка выдерживать паузу перед замечанием, от которой ученик успевал сам понять половину своей ошибки.

— Винтер, — сказал он. — Значит, вернулись.

— Да.

— Зачем?

Пауль растерялся.

— Преподавать.

— Это я понял. Зачем преподавать?

— Потому что люблю литературу.

— Плохая причина.

— Почему?

— Любить литературу можно дома. Учителю приходится любить ещё и учеников.

Пауль улыбнулся.

— Постараюсь.

— Не старайтесь. Сначала посмотрите, какие они.

Первый урок ему позволили провести через неделю. Фабер сел на последнюю парту и положил перед собой блокнот. От одного этого жеста Пауль почувствовал себя студентом на экзамене.

На доске он написал:

Paul Winter. (Пауль Винтер. — нем.)

Ниже:

Deutsche Sprache und Literatur. (Немецкий язык и литература. — нем.)

— Кто знает, зачем человеку литература? — спросил он.

Руди Штамм, худой пятнадцатилетний мальчик с вечными царапинами на руках, ответил первым:

— Чтобы учителя задавали больше домашней работы.

Класс засмеялся.

— Уже хороший аргумент. Ещё?

Анна Бергер подняла руку.

— Чтобы понимать других людей.

— А язык?

— Чтобы с ними разговаривать.

Пауль стёр половину надписи и оставил одно слово:

Sprache. (Язык. — нем.)

— Язык нужен не только для того, чтобы говорить. Он ещё помогает нам понять, что именно мы думаем. Иногда слово делает мысль яснее. Иногда, наоборот, прячет её. Поэтому на наших уроках я буду надоедать вам одним вопросом.

Руди вздохнул.

— Каким?

— «Что именно вы имеете в виду?»

Кто-то засмеялся. Фабер на последней парте ничего не записал, и Пауль решил, что это хороший знак.

После урока наставник дождался пустого класса.

— Слишком много говорили.

— Я думал, неплохо.

— Неплохо. Поэтому и говорю.

— А если бы было плохо?

— Я бы говорил дольше.

Фабер взял блокнот.

— У вас есть одна полезная привычка.

— Какая?

— Вы спрашиваете, что человек имеет в виду.

— Это вы считаете полезным?

Старый учитель посмотрел на доску, где ещё оставалось слово *Sprache*. (Язык. — нем.)

— Для литературы — безусловно.

Он помолчал.

— Для жизни иногда бывает неудобно.

В тот день Пауль вышел из школы в тёплый мартовский воздух и впервые за долгое время почувствовал, что вернулся не просто домой. Перед ним была профессия, к которой он шёл несколько лет, знакомый город и люди, чьи отношения казались прочнее газетных заголовков. Самуэль Леви шил костюмы, Марта работала у Розы, Эрнст чинил заводские станки, Грета спорила с Мириам о книгах, а доктор Фабер собирался научить бывшего ученика преподавать.

Весной 1932 года этого было достаточно.

Глава 2. Год ожидания

Весна 1932 года оказалась холодной и затяжной. После Пасхи несколько раз возвращался мокрый снег, а школьный двор каждое утро превращался в грязную смесь воды, песка и прошлогодних листьев. Пауль входил в новую жизнь постепенно: сначала наблюдал уроки доктора Фабера, затем получал отдельные темы, потом целые занятия и наконец классы, в которых наставник уже лишь сидел на последней парте и делал пометки.

Эти пометки раздражали сильнее любой критики.

— Что сегодня? — спрашивал Пауль после урока.

Фабер открывал блокнот.

— Слишком много вопросов.

— Вы сами говорили спрашивать.

— Я говорил спрашивать учеников, а не допрашивать их.

Через неделю замечание было другим:

— Вы задаёте вопросы, на которые хотите ответить сами.

— А если они не отвечают?

— Подождите.

— Сколько?

— Дольше, чем вам удобно.

Пауль учился молчать перед классом. Это оказалось труднее, чем говорить.

Дома жизнь шла своим порядком. Мать уходила в мастерскую Леви утром и возвращалась к вечеру, иногда приносила обрезки ткани, из которых шила Грете воротнички или чинила домашние вещи. Эрнст продолжал работать на заводе, хотя каждая новая неделя начиналась с разговоров о возможных сокращениях. Самуэль жаловался на цены, Роза — на покупателей, покупатели — на цены, и всё это казалось нормальной частью жизни.

Однажды Пауль зашёл в мастерскую после школы и застал отца на коленях перед раскрытым корпусом швейной машины.

— Ты теперь здесь работаешь?

— Самуэль считает, что механизм обязан его уважать.

— Я считаю, что механизм обязан работать, — отозвался Самуэль.

— Тогда не мешай человеку, который умеет.

У окна сидели Грета и Мириам. Перед ними лежало одно яблоко, разрезанное пополам, и школьный учебник. Они спорили так громко, что совершенно не замечали взрослых.

— Фонтане на её стороне, — сказала Грета.

— Фонтане вообще ничего про тебя не знает.

— Именно поэтому объективен.

Пауль остановился.

— Чему я вас учу?

Мириам улыбнулась.

— Ты нас ничему не учишь.

— Ужасная семья, — сказал он Самуэлю.

— Не моя.

— Твоя дочь участвует.

— Тогда ужасная наполовину.

В такие вечера политика казалась чем-то, существующим в газетах и на стенах домов, но не внутри мастерской. Однако к лету плакаты становились всё многочисленнее, а разговоры на улицах — громче. Безработица, Версальский договор, коммунисты, националисты, республика, президентские выборы, распушенный рейхстаг — каждую неделю возникала новая причина объяснить, почему Германия больше не может жить по-старому.

Пауль замечал это прежде всего по ученикам. Подростки приносили в класс то, что слышали дома. Один уверял, что только коммунисты защищают рабочих; другой говорил, что коммунисты хотят отнять у семьи дом; третий повторял, что демократия доказала свою неспособность; четвёртый вообще не интересовался политикой и хотел знать только результат воскресного футбольного матча.

Руди Штамм относился к первой группе любителей готовых ответов. В начале лета Пауль впервые заметил на его одежде значок Hitlerjugend — НЈ (Гитлерюгенд, «Гитлеровская молодёжь»).

— Вступил? — спросил он после урока.

— Да.

— Нравится?

— Конечно. Походы, спорт, строевая подготовка. Скоро будет большой выезд.

— А дома что говорят?

— Отец рад. Говорит, Германия должна снова стать сильной.

— А ты?

Руди задумался.

— Тоже.

— Что значит сильной?

Мальчик улыбнулся.

— Вот. Опять ваш вопрос.

— Привыкай.

Летом та же тема появилась дома с другой стороны. Подруга Греты Лиза Хофман пригласила её на встречу Bund Deutscher Mädel — BDM (Союза немецких девушек). Организация тогда была одной из нескольких молодёжных сред, в которых подросткам предлагали то, чего им особенно не хватало в годы кризиса: общность, форму, походы, песни, гимнастику, ощущение порядка и принадлежности.

— Я только посмотрю, — сказала Грета матери.

— Где?

— В зале возле спортивной площадки.

— Кто будет?

— Лиза. Её сестра. Другие девочки.

Марта посмотрела на Пауля.

— А ты что молчишь?

— А что я должен сказать?

— Ты учитель.

— Стажёр.

— Тем хуже. Уже умеешь давать ненужные советы.

Пауль повернулся к сестре.

— Хочешь идти — иди.

Грета удивилась.

— И всё?

— А что ты ждала?

— Что начнёшь про политику.

— Ты идёшь петь или становиться министром?

— Петь.

— Тогда сначала пой.

После первой встречи Грета вернулась возбуждённая и счастливая. Рассказывала о гимнастике, песнях и походе, который собирались устроить в лес. О политике почти не говорила.

— Там интересно, — повторяла она. — И Лотта очень хорошая.

- Кто Лотта?
- Руководительница.
- Сколько ей?
- Двадцать.
- Эрнст усмехнулся.
- Старуха.
- Папа!

В июле страна снова голосовала. На выборах в рейхстаг 31 июля 1932 года Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — NSDAP (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) получила больше голосов, чем любая другая партия, — около тридцати семи процентов, но собственного большинства в парламенте не имела.

Вечером семья слушала результаты по радио.

— Значит, Гитлер победил? — спросила Грета.

Пауль ответил:

- Его партия стала крупнейшей.
- Это не одно и то же?
- Нет.
- Почему?

Эрнст сказал:

— Не спрашивай. Сейчас начнётся лекция.

Пауль бросил в отца сложенной газетой.

Марта сидела с шитьём и почти не следила за цифрами.

- Лишь бы правительство уже появилось и перестали голосовать каждые три месяца.
- Хорошая программа, — сказал Эрнст. — Надо было тебе идти в рейхстаг.
- Там плохо платят швеям.

На заводе результаты обсуждали иначе. Одни радовались, другие ругались. Эрнст приносил домой обрывки разговоров, но сам по-прежнему связывал политику с одним вопросом: появятся ли заказы. Его товарищ Отто Краузе работал сокращённую неделю и не знал, чем платить за уголь осенью.

— Он говорит, проголосовал бы хоть за дьявола, если тот гарантирует пять смен, — рассказывал отец.

— А ты? — спросил Пауль.

— Я сначала попрошу письменную гарантию.

В школе политические символы постепенно переставали удивлять. Кто-то носил значки, кто-то спорил на переменах, кто-то повторял слова родителей. Пауль старался не превращать уроки литературы в политические дискуссии, но иногда политика сама входила в класс.

Однажды Руди после занятия задержался.

— Господин Винтер, отец говорит, если Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — NSDAP (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) придёт к власти, безработицы не будет.

- Возможно.
- Вы не верите?
- Я не знаю.
- Но они обещают.

Пауль закрыл журнал.

— Руди, запомни одну вещь. Когда человек обещает одновременно работу, порядок, величие, справедливость и решение всех проблем, не обязательно сразу считать его лжецом.

Мальчик ждал.

— А что тогда?

— Спроси, как именно он собирается это сделать.

— И если ответит?

— Слушай следующий ответ.

Руди засмеялся.

— С вами невозможно.

— Это часть образования.

Осенью политический кризис не закончился. В ноябре прошли новые выборы. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — NSDAP (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) потеряла часть голосов, хотя сохранила первое место. Грета услышала об этом по радио и спросила:

— Значит, Гитлер проиграл?

— Не совсем.

— Почему у тебя никогда не бывает ответа «да» или «нет»?

— Потому что жизнь плохо устроена.

Эрнст сказал:

— Вот поэтому люди и голосуют за тех, кто обещает простые ответы.

Пауль посмотрел на отца.

— Иногда ты говоришь разумные вещи.

— Запиши дату.

К зиме Грета стала ходить на встречи Bund Deutscher Mädel — BDM (Союза немецких девушек) регулярно. Пока это по-прежнему были песни, спорт, походы и разговоры о немецкой культуре. Но Пауль заметил небольшую перемену в её речи. Раньше она говорила: «Я думаю». Теперь всё чаще: «Нам объяснили».

Однажды за ужином она сказала:

— Нам объяснили, что Германия должна снова стать единой.

Пауль поднял голову.

— В каком смысле?

— Господи, Пауль.

— Я просто спросил.

— Чтобы люди перестали думать только о партиях и начали думать о Германии.

— Звучит неплохо.

Грета подозрительно посмотрела.

— Ты согласен?

— С этой фразой — да.

— А с чем не согласен?

— Пока ни с чем. Ты принесла только одну фразу.

Она фыркнула.

Марта вмешалась:

— Оставь сестру в покое.

— Я ничего.

— Ты всегда «ничего» так, что человеку хочется защищаться.

Рождество 1932 года прошло почти спокойно. У Леви было меньше заказов, чем несколько лет назад, но мастерская работала. Роза прислала пирог, Самуэль — бутылку вина, которую объявил слишком хорошей для себя и достаточно посредственной для Эрнста. Мириам пришла к Грете днём и осталась до ужина. Девушки спорили о книге, потом помогали Марте развешивать украшения.

— Вы обе криво, — сказала Марта.

— Зато одинаково, — ответила Мириам.

— Это уже стиль, — поддержала Грета.

Самуэль вечером зашёл за Розой и задержался почти на час. За столом говорили о школе, ценах, заводе, погоде, новом пальто господина Готлиба и только в самом конце — о политике.

— Новый год будет лучше, — сказал Самуэль.

Эрнст спросил:

— Откуда знаешь?

— Не знаю. Но если человек не верит, что следующий год будет лучше, зачем покупать календарь?

В январе правительственный кризис снова стал главной темой газет. Фамилии менялись, переговоры шли, слухи противоречили друг другу. Пауль читал меньше, чем раньше. Он привык, что политика обещает поворот каждую неделю и почти никогда не меняет его утренний маршрут.

Тридцатого января 1933 года он проснулся от заводского гудка, позавтракал с семьёй, взял портфель и пошёл в школу. По дороге Самуэль Леви поднимал металлическую решётку перед витриной мастерской.

— Доброе утро! — крикнул он.

— Доброе утро!

— Не опоздайте, господин учитель!

— Стажёр!

— Это временно!

Пауль махнул рукой и пошёл дальше.

Марта садилась за швейную машину. Эрнст уже стоял у станка на заводе. Грета спешила в школу, где после занятий собиралась встретиться с Лизой. Мириам несла подруге книгу.

Обычный понедельник.

К вечеру у Германии будет новый рейхсканцлер.

Глава 3. Тридцатое января

Утро 30 января 1933 года ничем не отличалось от предыдущего, и именно это Пауль позднее вспоминал чаще всего. Не факелы и не речи, а то, насколько обыкновенным оказалось начало дня, после которого всё постепенно станет другим.

Он проснулся от заводского гудка. В соседней комнате отец уже одевался, на кухне Марта ставила воду, а Грета искала вторую перчатку.

— Под кроватью, — сказал Пауль, проходя мимо её комнаты.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что вчера ты там искала первую.

Через несколько секунд раздался её голос:

— Нашла!

— Удивительно.

На кухне пахло кофе и поджаренным хлебом. Эрнст сидел за столом перед газетой, раскрытой на политической странице.

— Опять ничего? — спросил Пауль.

— О чём?

— О правительстве.

— Сегодня одно, завтра другое. Если буду запоминать всех канцлеров, места для полезных вещей в голове не останется.

Марта поставила перед ним кружку.

— Например, для того, где лежат ключи?

Эрнст машинально похлопал себя по карману.

Грета рассмеялась.

Пауль просмотрел несколько строк. Гитлер, Папен, Шлейхер, Гинденбург — за последний год политические фамилии сменялись быстрее, чем обычный человек успевал разобратся, кто с кем договаривается и кто уже успел поссориться.

— Сегодня задержусь, — сказал Эрнст, застёгивая пальто.

— Почему? — спросила Марта.

— Возможный заказ.

— Большой?

— Пока не знаю.

— Откуда?

— Тоже не знаю.

Пауль улыбнулся.

— Ты удивительно хорошо информирован.

— Поэтому и живу спокойно.

Отец поцеловал жену в щёку и ушёл. Через несколько минут отправились Марта и Грета. Пауль вышел последним.

На улице было морозно. У булочной стояла очередь, почтальон ехал на велосипеде, у аптеки подметали ступени. На Марктгассе Самуэль Леви поднимал решётку мастерской.

— Доброе утро!

— Доброе утро!

— Не опоздаете?

— Если будете задерживать — опоздаю.

— Тогда идите. Немецкое образование важнее старого портного.

Изнутри послышался голос Розы:

— Кто там?

— Молодой учитель!

— Пока стажёр! — крикнул Пауль.

— Значит, ещё можно исправить! — ответила Роза.

Пауль рассмеялся и пошёл дальше.

Первый урок он проводил сам. Доктор Фабер сидел на последней парте, и хотя Пауль давно привык к его присутствию, сегодня наставник опять заставлял нервничать. На доске стояло:

Der innere Monolog. (Внутренний монолог. — нем.)

— Кто напомним, что это такое?

Анна Бергер подняла руку.

— Речь персонажа, обращённая к самому себе.

— Хорошо. А зачем писателю показывать то, что герой не произносит вслух?

Руди Штамм ответил:

— Чтобы книга была длиннее.

Класс засмеялся. Пауль посмотрел на Фабера. Тот с совершенно серьёзным видом что-то записал.

— Спасибо, Штамм. Теперь я знаю, зачем Толстой писал романы. Ещё варианты?

Девочка во втором ряду сказала:

— Потому что люди не всегда говорят то, что думают.

— Именно. Иногда самое важное происходит между тем, что человек думает, и тем, что решается сказать.

В этот момент дверь открылась. Вошёл директор Бремер. Ученики встали.

— Прошу прощения, господин Винтер. Только что получено сообщение из Берлина.

Класс затих.

— Рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером Германии.

Две секунды ничего не происходило. Затем Руди зааплодировал. К нему присоединились ещё несколько мальчиков; кто-то выкрикнул: «Наконец-то!» Другие молчали.

Бремер поднял руку.

— Спокойно. Занятия продолжаются по обычному расписанию. После последнего урока преподаватели соберутся в учительской.

Когда дверь закрылась, руки поднялись сразу в нескольких рядах.

— Хорошо, — сказал Пауль. — Пять минут.

Руди заговорил первым:

— Теперь всё изменится?

Пауль помедлил.

— Не знаю.

— Мой отец говорит, коммунистов разгонят.

— Это не ответ на твой вопрос.

Другой ученик вмешался:

— А мой отец говорит, Гитлер долго не продержится.

— Вот видите. У нас уже есть два отца и два будущих Германии.

Класс засмеялся.

— А вы что думаете? — спросил Руди.

Пауль почувствовал взгляд Фабера.

— Думаю, что сегодня Гитлер стал канцлером.

— И всё?

— Для достоверного ответа — всё.

— Вы ему не доверяете?

Пауль мог ответить резче, но перед ним сидели пятнадцатилетние подростки, а главное — он и сам не знал, что произойдёт дальше.

— Я стараюсь не доверять политику только потому, что он обещает именно то, что я хочу услышать.

— А кому тогда доверять?

— Поступкам.

С задней парты кто-то пробормотал:

— Германия слишком долго ждала.

Пауль попросил мальчика встать и объяснить. Тот перечислил безработицу, Версаль и коммунистов, смешав три разных ответа в один. Пауль написал на доске:

Alle. (Все. — нем.)

— Очень удобное слово: «все считают», «все знают», «все говорят». Когда услышите его, задайте следующий вопрос.

— Какой?

— Кто именно?

Фабер опять что-то записал.

В учительской после уроков было шумно. Брандт, преподаватель истории, выглядел воодушевлённым.

— Наконец Германия получит стабильность.

Доктор Фабер снял очки.

— Завидую людям, которые сегодня в чём-либо уверены абсолютно.

— Вы против назначения Гитлера?

— Я против абсолютной уверенности.

Директор Бремер попросил тишины и сообщил, что специальных распоряжений для школы пока нет.

— Местная организация Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — NSDAP (Национал-социалистической немецкой рабочей партии) собирает вечером шествие на Марктплац, — сказал Брандт. — Школа будет участвовать?

— Участие школы не предусмотрено. После занятий каждый преподаватель распоряжается своим временем самостоятельно.

— Мне кажется, школе не следует оставаться в стороне от национального подъёма.

Фабер тихо спросил:

— Какого именно?

— Разве вы не понимаете, что произошло?

— Прекрасно понимаю: президент назначил нового канцлера.

— Не просто нового канцлера. Человека, который вернёт Германии достоинство.

— Когда вернёт, поговорим.

Пауль невольно улыбнулся. Брандт это заметил.

— Вам смешно, господин Винтер?

— Нет. Доктор Фабер просто выразил мою мысль быстрее меня.

Бремер положил карандаш на стол.

— Господа, достаточно. Это школа, а не политический клуб.

На заводе новость дошла до Эрнста около полудня. Мастер сообщил её, перекрикивая станки. Один рабочий крикнул, что теперь будет порядок; другой ответил, что сначала пусть новый канцлер даст работу.

Отто Краузе подошёл к Эрнсту.

— Ты чего молчишь?

— А что говорить?

— Думаешь, ничего не изменится?

— Надеюсь, изменится.

— Ты?

— Если появятся заказы и перестанут увольнять людей, я буду рад.

— Вот! Значит, тоже за него.

Эрнст вытер руки.

— Я сказал не это.

В мастерскую Леви новость принесла клиентка. Роза держала во рту булавки и не сразу поняла, о чём речь.

— Гитлер канцлер.

Самуэль выглянул из соседней комнаты.

— Уже?

— Что значит «уже»?

— Утром ещё не был.

Марта спросила:

— И что теперь?

Клиентка пожала плечами.

— Говорят, наведут порядок.

— Кто говорит?

— Все.

Марта улыбнулась.

— Пауль за это слово ругается.

Самуэль вернулся к раскрою.

— Мне всё равно, кто канцлер, если люди продолжают носить брюки.

— А женщины платья, — добавила Роза.

— Платья лучше.

— Почему?

— Дороже.

Через несколько минут снова обсуждали длину рукава.

Грета узнала новость в школе. Лиза Хофман почти вбежала в класс со словами: «Назначили!» Девочки заговорили сразу. На встречах Bund Deutscher Mädel — BDM (Союза немецких девушек) в последние месяцы всё чаще говорили о новом времени, сильной Германии и единстве. До сих пор это оставалось обещанием. Теперь произошло что-то настоящее.

После уроков Лиза рассказала, что вечером на Марктплац будет шествие.

— Ты пойдёшь?

— Спрошу родителей.

— Что спрашивать? Тебе четырнадцать.

— Именно.

У ворот их догнала Мириам.

— Вы сегодня на площадь?

— Наверное, — сказала Лиза. — Все пойдут.

Грета посмотрела на неё.

— Опять «все».

— Что?

— Пауль говорит, это подозрительное слово.

— Твой брат вообще подозрительный.

Три девочки пошли дальше вместе и на углу разошлись по домам.

За ужином Грета попросила разрешения пойти на площадь. Марта хотела отпустить её до десяти, Эрнст начал торговаться за более раннее возвращение и окончательно запутал собственную позицию. Пауль отказался идти.

— Сегодня исторический день, — сказала Грета.

— Работы от этого не исчезли.

— Ты всегда скучный.

После еды соседи включили радио громче обычного. В передачах из Берлина говорили о новом правительстве, толпах и вечернем факельном шествии. Эрнст слушал несколько минут, затем заметил:

— Вот теперь политика добралась и до дома.

На Марктплац тем временем собирались люди. Айзенфельд не был Берлином: несколько десятков членов Sturmabteilung — SA (Штурмовых отрядов), партийные активисты, флаги, факелы, оркестр и любопытные горожане. Одни пришли поддержать новое правительство, другие — посмотреть. В маленьком городе большое политическое событие легко становилось ещё и зрелищем.

Грета нашла Лизу возле фонтана. Факелы действительно выглядели красиво: огонь отражался в окнах, снег на крышах казался оранжевым, музыка перекрывала разговоры. Когда колонна двинулась, кто-то поднял руку и выкрикнул: Heil Hitler! (Да здравствует Гитлер! — нем.). Ему ответили другие.

Лиза вскинула руку.

— Давай!

— Зачем?

— Так приветствуют.

Грета подняла руку неловко, не до конца, и повторила вместе с окружающими: Heil Hitler! (Да здравствует Гитлер! — нем.). Ей стало смешно от собственной неловкости, Лиза тоже засмеялась. Они были девочками, которым нравились музыка, факелы, шум и ощущение, что

на несколько минут можно стать частью чего-то значительно большего, чем школа, семья и привычная улица.

Дома Пауль стоял у окна. Шествие проходило по соседней улице, и музыка была слышна всё отчётливее. Марта подошла.

— Красиво.

Он повернулся.

— Что?

— Факелы. Не смотри так, я сказала про огонь.

Из комнаты донёсся голос Эрнста:

— Это у него университетское лицо!

Когда колонна показалась в конце улицы, отец тоже подошёл. Несколько секунд все трое молчали.

— Много людей, — сказала Марта.

Эрнст пожал плечами.

— На пожар тоже много выходит.

— Обязательно всё портить?

— Я только не понимаю, чему они уже радуются.

Пауль повернулся к нему.

— Именно.

— Не начинай. Я не на твоей стороне.

— Я ничего не сказал.

Факелы исчезли за углом. Марта закрыла занавеску и спросила, кто будет чай.

Грета вернулась без десяти десять, красная от мороза и возбуждения. Она рассказывала о музыке, Крюгере из местной партийной организации, речах о новой эпохе, национальном единстве и конце унижения. Пауль спросил, как именно должен объединиться народ.

— Ты опять просто спрашиваешь?

— Да.

— С тобой невозможно.

Эрнст вмешался:

— Оставь ребёнка. Замёрзла.

— Я не ребёнок.

— Тогда сама сделай чай.

Через минуту Грета опять рассказывала о знакомых, которых увидела на площади. Политика постепенно растворилась в подробностях вечера.

Поздно ночью Пауль остался на кухне один. На столе лежала вечерняя газета с портретом нового рейхсканцлера. Обещания порядка, работы, национального единства и выхода из кризиса были именно тем, чего хотели миллионы людей. В том числе Эрнст. В каком-то смысле и сам Пауль хотел того же: чтобы рабочие перестали бояться увольнения, чтобы правительства не рушились каждые несколько месяцев, чтобы политика не превращала улицы в место драки.

Его тревожило не то, что обещали. Скорее уверенность, с которой обещали всё сразу.

На следующее утро город выглядел прежним. Булочная открылась вовремя, трамвай опоздал, Мириам забыла линейку, Руди снова поднял руку на первом уроке.

— Господин Винтер, вчера вы говорили, что будете судить по поступкам. Теперь уже можно?

Класс засмеялся.

— Прошло меньше суток, Штамм.

— Значит, нет?

— История обычно работает медленнее тебя.

Фабер на последней парте кашлянул, скрывая улыбку.

Урок продолжился.

Глава 4. После пожара

Февраль начался не с перемен, а с ожидания перемен. Пауль понял разницу не сразу. Утром он по-прежнему шёл мимо булочной, аптеки и мастерской Леви; смотритель Хольц ругался на грязь в коридоре; Марта возвращалась домой с нитками на платье; Эрнст спрашивал, подтвердили ли заводской заказ. Но разговоры уже изменились. До 30 января спорили о том, кто придёт к власти. Теперь — о том, что новая власть сделает.

В школе перемены тоже начались со слов. На столе в учительской появился циркуляр о необходимости уделять больше внимания «национальному воспитанию», гражданскому долгу, германской истории и уважению к государству. Формулировки были достаточно расплывчатыми, чтобы каждый мог понять их по-своему.

— Что мы должны делать? — спросил Штольц.

Директор Бремер пожал плечами.

— Пока ничего особенного. Преподавать.

Брандт поднял голову.

— Смысл совершенно ясен. Школа не может существовать отдельно от национального возрождения.

Фабер перелистнул газету.

— Я надеялся хотя бы до первого кофе обойтись без национального возрождения.

Пауль взял циркуляр.

— А если литература противоречит национальному воспитанию?

— Настоящая немецкая литература не может ему противоречить, — ответил Брандт.

— А что такое настоящая?

Бремер положил бумагу на стол.

— Господа, хватит. Это пока только рекомендация.

Слово «пока» стало встречаться всё чаще.

Грета тем временем ходила на встречи Bund Deutscher Mädel — BDM (Союза немецких девушек) дважды в неделю. Сначала это почти не влияло на домашнюю жизнь. Она приходила уставшая, приносила новые песни, рассказывала о гимнастике и походах. Однажды показала матери, как правильно укладывать рюкзак.

— Картошку туда можно? — спросила Марта.

— Мама.

— В походе есть захочется.

— Можно бутерброды.

— Значит, цивилизация спасена, — сказал Эрнст.

Но постепенно Пауль заметил, что вместе с песнями сестра приносит домой новый словарь: дисциплина, общность, долг, народ. Слова сами по себе не были плохими. Пугало то, что она всё чаще произносила их как уже готовые истины.

Однажды за ужином Грета сказала:

— Лотта говорит, личное должно уступать общему.

— Всегда? — спросил Пауль.

— Да.

— Если я хочу стать учителем, а государству понадобятся рабочие, меня надо отправить на завод?

— Это глупый пример.

— Я проверяю правило.

— Ты специально всё переворачиваешь.

Марта вмешалась:

— Оставь сестру. Ты даже за ужином преподаёшь.

Пауль сдался, но позднее, проходя мимо комнаты Греты, услышал, как она повторяет песню. Голос был ещё детский. Он остановился, затем пошёл дальше.

Вечером 27 февраля семья была дома. Пауль проверял сочинения, Грета пыталась пришить пуговицу, Марта в конце концов отобрала у неё иглу, а Эрнст читал газету. Радиопередача внезапно прервалась. Диктор сообщил о пожаре в здании рейхстага в Берлине.

Сначала сведения были отрывочными: горит зал заседаний, пожарные работают, задержан подозреваемый. Потом всё чаще звучало слово «коммунист».

— Коммунисты? — спросила Грета.

Пауль поднял голову.

— Почему?

— Лотта говорила, что они готовят переворот.

Эрнст нахмурился.

— Твоя Лотта работает в полиции?

— Нет.

— Тогда откуда знает?

— Все говорят.

Грета сама заметила слово и посмотрела на брата.

— Только не начинай.

— Я молчу.

— Но подумал.

— Это пока разрешено.

Отец бросил на него предупреждающий взгляд.

Утром город уже знал виновных, во всяком случае так казалось по газетным заголовкам. Говорили о коммунистическом заговоре и попытке переворота. Отец Руди Штамма возле булочной уверял знакомого, что «они хотели сжечь всю Германию».

В школе Руди встретил Пауля у двери.

— Теперь вы видите?

— Что именно?

— Коммунисты начали.

— Кто?

— Коммунисты.

— Все?

Мальчик раздражённо выдохнул.

— Вы опять.

— Рейхстаг поджёт человек, которого полиция связывает с коммунистами. Один человек — это партия?

— А если они готовили переворот?

— Тогда это надо доказать.

— Вы никому не верите.

— Очень многим. Например, тебе, когда ты говоришь, что не выучил стихотворение.

Руди невольно улыбнулся.

Днём стало известно о *Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat* (Указе рейхспрезидента о защите народа и государства. — нем.), подписанном 28 февраля. Директор собрал преподавателей и коротко объяснил содержание: ограничивались свобода личности, слова и печати, тайна переписки, свобода собраний и объединений; значительно расширились возможности обысков, арестов и вмешательства властей.

— Временно? — спросил Штольц.

Бремер посмотрел в документ.

- Срок не указан.
- Фабер снял очки.
- Интересное понимание временности.
- Брандт резко ответил:
- Государство защищается от переворота.
- Переворот уже был? — спросил Фабер.
- Вы хотите дождаться?
- Бремер остановил спор.

Пауль смотрел на бумагу и впервые ясно почувствовал, как легко права, которые в учебнике казались прочной частью государственного устройства, превращаются в строки, действие которых можно приостановить подписью.

- Что это значит для школы? — спросил он.
- Пока ничего, — ответил Бремер.

Через день на завод не пришёл Вилли Браун, рабочий с соседнего участка. Коммунистических взглядов он не скрывал, иногда приносил партийную газету, много спорил и редко дрался. К обеду выяснилось, что ночью его забрали.

- За что? — спросил Эрнст.
- Политика, — ответил мастер.
- Какая политика? Он рейхстаг поджигал?
- Эрнст, откуда я знаю? Иди работай.
- Вечером отец рассказал дома. Грета сказала:

- Значит, поэтому.
- Что «поэтому»?
- Ну... после пожара.
- Он в Берлине был?
- Не знаю.
- Тогда почему его забрали?

Она замялась.

- Может, что-то сделал.
- Может. А может, ничего.

Через два дня Эрнст встретил жену Брауна у заводских ворот. Эльза стояла без шапки, с измятой бумагой в руках, и спрашивала выходявших мастеров, не знают ли они, куда увезли мужа.

— В полиции сказали, он в Schutzhaft (защитном заключении, то есть превентивном заключении без обычной судебной процедуры. — нем.), — сказала она Эрнсту.

- От кого его защищают?

Женщина посмотрела на него, и он сразу понял, насколько глупо прозвучал вопрос.

- У нас дети. Они спрашивают.

Эрнст пообещал узнать у мастера, хотя уже знал, что мастер ничего не знает.

Пятого марта снова прошли выборы в рейхстаг. Атмосфера отличалась от прошлогодней: на улицах стало меньше открытых споров, а возле некоторых избирательных участков виднелись люди в форме. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — NSDAP (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) получила 43,9 процента голосов — существенно больше, чем в ноябре, но всё ещё не абсолютное большинство.

- Но они победили? — спросила Грета вечером.
- Получили больше всех, — ответил Пауль.
- Значит, победили.
- В определённом смысле.
- Почему ты никогда не можешь просто сказать «да»?

Эрнст усмехнулся:

— Потому что учился.

В середине марта пропал ещё один знакомый Пауля — господин Кернер, преподаватель из другой городской школы и социал-демократ. О нём сообщил Фабер.

— Его забрали ночью.

— За что?

Старик оглянулся, хотя в учительской никого не было.

— Вот новый вопрос, Винтер. Раньше спрашивали: «Что он сделал?» Теперь всё чаще — «Кем он был?»

— И люди молчат?

Фабер посмотрел на него.

— А вы что предлагаете?

— Не знаю.

— Запомните этот ответ. Легко презирать чужое молчание, пока самому ничего не угрожает.

Грета продолжала ходить на встречи Bund Deutscher Mädel — BDM (Союза немецких девушек). После выборов к группе приходило всё больше девочек. На одном занятии Лотта произнесла лозунг: Gemeinnutz geht vor Eigennutz. (Общее благо выше личной выгоды. — нем.). Грета повторила вместе со всеми, а дома сообщила фразу семье.

Пауль, конечно, попросил объяснить, где проходит граница между личным и общим. Спор закончился тем, что Грета ушла в комнату. Позже он пришёл мириться.

— Я не считаю тебя глупой, — сказал он. — Поэтому и спрашиваю.

— Там никто таких вопросов не задаёт.

— Вот это меня и беспокоит.

— Ты думаешь, все там дураки?

— Нет. Когда много людей одновременно повторяют одну хорошую фразу, мне просто интересно, кто первым решил, что она хорошая.

— Опять учитель.

— К сожалению.

Она всё-таки улыбнулась.

Двадцать третьего марта рейхстаг в берлинской Кроль-опере большинством голосов принял Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (Закон об устранении бедственного положения народа и государства. — нем.), известный как Закон о чрезвычайных полномочиях. На следующий день, 24 марта, он был официально обнародован. Правительство получало право принимать законы без обычного участия рейхстага и рейхсрата, в том числе законы, отступавшие от конституции.

Эрнст слушал сообщение по радио и наконец спросил:

— То есть теперь рейхстаг можно почти не спрашивать?

— Во многих случаях — да.

— Тогда зачем мы пятого числа голосовали?

Пауль мог бы объяснять процедуры, двухтретье большинство, отсутствие коммунистических депутатов и давление на оппозицию, но вопрос отца был проще и точнее всех схем.

— Не знаю, — сказал он.

— Четыре года университета.

— Мало.

На следующий день Фабер положил перед ним газету.

— Вы когда-нибудь думали, в какой день республика перестаёт быть республикой?

— Вчера?

— Не знаю.

— Тогда зачем спрашиваете?

— Потому что историки потом любят точные даты. Человек, который живёт внутри событий, почти никогда не получает уведомления: «Внимание. Сегодня закончилась прежняя жизнь».

Последняя неделя марта была солнечной. Самуэль и Роза продолжали работать, Марта возвращалась из мастерской, Мириам ходила в школу. Вечером 31 марта Марта пришла домой раньше обычного. Пауль сразу заметил, что она сердита.

— Что случилось?

— Завтра не работаем.

— Почему?

— Будет бойкот.

— Какой?

Марта посмотрела на него.

— Еврейских магазинов и предприятий.

Она рассказала, что возле них должны поставить посты Sturmabteilung — SA (Штурмовых отрядов). Роза просила её не приходить, чтобы не было неприятностей.

— Ты пойдёшь? — спросил Пауль.

— Конечно.

Эрнст, вернувшийся через несколько минут, сказал, что не пустит.

— Я там работаю шестнадцать лет, — ответила Марта.

— Там будут эти... Я не хочу, чтобы ты лезла в политику.

— В какую политику? Я платье дошиваю.

— Завтра не будешь.

Марта посмотрела на мужа.

— Значит, уже опасно просто прийти на работу?

В прихожей стояла Грета. Она слышала последние слова.

Когда ей объяснили, что происходит, она тихо сказала:

— Нам сегодня говорили. Что завтра будет акция и немцы не должны покупать у евреев.

Марта посмотрела на дочь.

— И что ты думаешь?

— Не знаю.

— Тогда зачем ходишь туда, где тебе объясняют, у кого я должна работать?

— Это не против тебя.

— А против Розы? Самуэля? Мириам?

Грета резко ответила:

— Мириам тут вообще ни при чём! Она моя подруга.

Марта подошла и положила руку ей на плечо.

— Тогда запомни одну вещь. Когда тебе говорят про «евреев», сначала вспоминай Мириам. Потом Розу. Потом Самуэля. Не позволяй слову стать важнее человека.

Грета вытерла глаза.

— Я всё равно не понимаю, что от меня хотят.

— Это нормально, — ответила мать. — Ненормально перестать спрашивать только потому, что тебе уже дали готовый ответ.

Пауль невольно улыбнулся.

— Только не говори, — предупредила Грета.

— Ничего не говорю.

— У тебя лицо говорит.

Эрнст вздохнул:

— Университетское.

Они даже рассмеялись. Ненадолго.

На следующий день Марте предстояло решить, обычный ли выход на работу всё ещё остаётся обычным поступком.

Глава 5. Первое апреля

Марта встала раньше обычного. Было ещё темно, когда Пауль проснулся от тихого звона посуды на кухне. По субботам мать обычно позволяла себе лишние полчаса сна: мастерская открывалась позже, и Самуэль сам говорил, что раньше восьми приходить бессмысленно. Сегодня часы в коридоре показывали без четверти шесть.

Пауль вышел на кухню. Марта уже была в рабочем платье, волосы собраны, на столе лежал обычный свёрток с едой.

— Ты всё-таки идёшь.

— Как видишь.

— Отец знает?

— Узнает, когда проснётся.

— Я пойду с тобой.

— Нет.

— Почему?

Марта поставила перед ним чашку.

— Если там будут неприятности, что ты сделаешь? Подерёшься? Будешь читать им Гёте?

— Может помочь.

— Сомневаюсь.

Она села напротив.

— Я шестнадцать лет прихожу туда по субботам. Если Роза скажет, что работы нет, я вернусь. Если Самуэль попросит уйти — уйду. Но человек в коричневой рубашке не будет решать, могу ли я войти в мастерскую, где работаю шестнадцать лет.

В дверях появился Эрнст. Оказалось, он слушал достаточно давно.

— Я иду с тобой.

— Мне не нужна охрана.

— Мне всё равно.

Пауль повторил, что тоже пойдёт.

Отец неожиданно возразил серьёзно:

— Если сегодня запомнят мою фамилию, я потеряю максимум работу. Ты можешь потерять профессию, ещё не успев её получить.

Пауль хотел спорить, но мать поддержала Эрнста. В конце концов отец разрешил сыну идти отдельно — нелепая предосторожность, которой ещё вчера никому в семье не пришлось бы в голову.

Грета проснулась, когда родители уже собирались выходить.

— Вы куда?

— На работу, — ответила Марта.

— Сегодня?

Грета сразу поняла.

— Я тоже пойду.

— Нет.

— Но Мириам...

— Останься дома.

Когда родители ушли, Пауль встретил сестру в коридоре.

— Ты тоже идёшь?

— Да.

— А мне нельзя.

— Мне тоже нельзя.

Через десять минут они вышли вместе.

Первое время ничто не напоминало о бойкоте. Булочная была открыта, мясник выстав-
лял товар, дворник подметал мостовую. Но когда они свернули на Марктплац, всё стало видно.

Возле мастерской Леви стояли двое мужчин в форме Sturmabteilung — SA (Штурмовых
отрядов). Один держал плакат:

Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden! (Немцы ! Защищайтесь ! Не покупайте у
евреев ! — нем.)

На витрине белой краской было выведено Jude. (Еврей. — нем.). Рядом виднелась шести-
конечная звезда.

Грета остановилась. Она слышала подобные слова на собраниях, видела их на плакатах,
но раньше они существовали сами по себе. Теперь надпись была на стекле, за которым она
десятки раз сидела с Мириам.

Возле двери уже стояли Эрнст и Марта.

— Я здесь работаю, — говорила мать одному из штурмовиков.

Мужчина был чуть старше Пауля, с обычным лицом, которое без формы легко предста-
вить за конторским столом.

— Сегодня не работаете.

— Кто сказал?

— Магазин закрыт.

— Это мастерская.

— Неважно.

— Для меня важно.

Второй мужчина усмехнулся.

— Фрау, идите домой.

Марта посмотрела на него.

— Я сама решу, куда мне идти.

— Сегодня проводится общегерманская акция.

— Я вижу.

— Тогда в чём проблема?

— В том, что вы стоите у двери моей работы.

— Не вашей. Еврейской.

На мгновение Марта замолчала. За стеклом появилась Роза и покачала головой: не надо.
Марта всё-таки шагнула к двери. Штурмовик встал перед ней. Эрнст схватил жену за
локоть.

— Не сейчас.

— Отпусти.

— Не сейчас, Марта.

В этот момент отец заметил детей.

— Вы какого чёрта здесь?

— Я хотела увидеть Мириам, — тихо сказала Грета.

За витриной появилась и Мириам. Девочки увидели друг друга. Грета подняла руку,
Мириам ответила.

Один из штурмовиков спросил:

— Знакомые?

— Это моя подруга, — сказала Грета.

— Никто не запрещает дружить.

Он пожал плечами и добавил с улыбкой:

— Пока.

Марта резко повернулась.

— Что значит «пока»?

Эрнст снова удержал её.

— Всё. Уходим.

Она посмотрела на Розу. Та опять покачала головой, и Марта подчинилась именно ей, а не мужчинам у двери. Семья перешла на противоположную сторону площади, но Марта отказалась идти домой.

— Хочу посмотреть.

— На что? — спросил Эрнст.

— Не знаю.

В течение следующего часа люди подходили к мастерской и останавливались. Пожилая фрау Бергер хотела забрать уже оплаченную юбку, но её не пустили. Мужчина, увидев плакат, развернулся. Молодая женщина прочитала надпись и тоже ушла. Некоторые проходили мимо, словно мастерской не было.

Господин Фогель, владелец магазина посуды, которого все знали как старого знакомого Самуэля, остановился перед витриной и сказал:

— Давно пора.

Грета вздрогнула.

— Почему?

Никто из взрослых не ответил.

Около девяти подошёл аптекарь Готлиб.

— Вы куда? — спросил штурмовик.

— К господину Леви.

— Сегодня бойкот.

— Я вижу.

— Тогда проходите дальше.

— У меня там пальто.

— Заберёте после бойкота.

Готлиб снял очки, протёр и снова надел.

— На каком правовом основании вы запрещаете мне войти в мастерскую?

Мужчина заметно растерялся. Второй вмешался и потребовал, чтобы аптекарь ушёл. Готлиб перешёл площадь и встал рядом с Винтерами.

— Не попали на работу? — спросил он Марту.

— Как видите.

— Значит, я не один.

Через некоторое время рядом остановилось ещё несколько знакомых. Никакой демонстрации не было: никто не держал плакатов и не произносил речей. Люди просто стояли.

Около десяти дверь мастерской открылась. Самуэль вышел наружу.

— Вам велено держать магазин закрытым, — сказал штурмовик.

— Это мастерская.

— Неважно.

Самуэль посмотрел на площадь и увидел Винтеров.

— Что вы там стоите?

— На работу пришла, — ответила Марта.

— Я вижу. Идите домой.

— Мне надо закончить платье.

Аптекарь уточнил:

— Моей сестры.

— Какая разница.

— Для неё большая.
Даже Самуэль улыбнулся.
Штурмовик раздражённо спросил:
— Вы закончили?
— Нет. Я портной. Я редко заканчиваю вовремя.
Эрнст фыркнул. На секунду напряжение ослабло.
Самуэль подошёл к витрине.
— Можно спросить, кто это написал?
Он указал на Jude. (Еврей. — нем.).
— Не знаю.
— Буква J хорошая. Только линия неровная.
— Вы издеваетесь?
— Оцениваю работу.
Роза появилась в дверях.
— Самуэль, войди.

И тут Пауль увидел: шутки — только оболочка. Лицо портного было усталым, будто за одно утро он заметно постарел.

— Марта, идите домой, — сказал он уже без улыбки. — Сегодня работы нет. В понедельник приходите.

Грета неожиданно спросила:
— Господин Леви, зачем они это написали?
Самуэль остановился. Он знал её почти с рождения.
— Чтобы люди знали, кто я.
Грета нахмурилась.
— Но все и так знают.
Самуэль долго смотрел на неё.
— Вот и я так думал.
Он вошёл внутрь.

К полудню похожие посты стояли возле кабинета еврейского врача, обувной лавки и адвокатской конторы. На окнах появлялись надписи и плакаты. Грета прочитала один:

Deutsche! Wehrt Euch! (Немцы ! Защищайтесь ! — нем.)

— От чего защищаться?

Пауль ответил:

— Хороший вопрос.

— Я не тебя спрашиваю.

По площади прошёл полицейский. Марта оживилась, но он лишь поговорил со штурмовиками, кивнул и пошёл дальше.

— И всё? — спросила она.

Эрнст тихо ответил:

— А что ты ожидала?

Пожилая госпожа Крамер подошла к мастерской с тростью. Штурмовик сообщил, что сегодня еврейские предприятия бойкотируют.

— Что Самуэль сделал? — спросила она.

— Он еврей.

— Я знаю.

— Тогда зачем спрашиваете?

Госпожа Крамер подумала.

— Потому что это не ответ.

Она попыталась войти, потом, когда её не пропустили, достала кошелек и объявила, что хочет купить нитки.

— Купите в другом месте.

— Почему?

— Потому что это еврейская мастерская.

— Нитки тоже еврейские?

Кто-то засмеялся. Штурмовик повысил голос и потребовал, чтобы старушка ушла. Марта взяла её под руку и отвела.

— А нитки всё-таки хорошие, — тихо сказала госпожа Крамер, проходя мимо Греты.

После полудня Винтеры ушли. Эрнсту нужно было на завод, Марта устала, Пауль настоял. Грета несколько раз оглядывалась: за стеклом всё ещё иногда появлялась Мириам.

Дома Марта сразу сняла рабочее платье, аккуратно сложила и стала готовить обед. Пауль понял, что ей нужны привычные вещи — картофель, нож, вода, плита — то, что ещё подчиняется понятным правилам.

Грета помогала чистить картошку.

— Лотта говорила, что бойкот — ответ на иностранную пропаганду, — сказала она.

— Какую?

— За границей пишут неправду о Германии.

— И поэтому надо не покупать у Самуэля?

— Так объясняли.

Марта продолжала резать лук.

— Ты злишься на меня? — спросила Грета.

Мать остановилась.

— Нет. Вчера я испугалась, что ты начнёшь повторять слова, не представляя, что они делают с людьми.

— Но если за границей действительно врут?

— Не знаю.

— Пауль бы сказал: надо проверить.

— Умный у нас Пауль.

— Иногда ужасно раздражает.

— Это тоже правда.

Через минуту Грета спросила:

— Ты в понедельник пойдёшь?

— Конечно.

— А если государство скажет, что нельзя?

Марта положила нож.

— Тогда будем думать.

— Но закон надо выполнять.

— Обычно да.

— А если закон плохой?

У матери не было готового ответа.

— Не знаю, Грета.

Первого апреля бойкот продолжался один день. На следующий рабочий день мастерские и магазины снова открылись, и можно было сделать вид, будто ничего необратимого не произошло. В понедельник Марта пришла к восьми. Роза открыла дверь, и женщины несколько секунд молча смотрели друг на друга.

— Платье не закончено, — сказала Марта.

— Не закончено.

— Тогда чего стоим?

Швейная машина заработала через несколько минут.

Первой клиенткой стала госпожа Крамер. Она положила на прилавок монету.

— Нитки.

— Какие? — спросил Самуэль.

— Любые.

— Цвет?

— Всё равно.

Он подал чёрную катушку.

— Спасибо, — сказал Самуэль.

— За что? Мне нужны нитки.

Когда дверь за ней закрылась, Самуэль посмотрел на Марту и Розу.

— Ну вот. Германия спасена.

Роза рассмеялась первой, Марта следом, затем и Самуэль. Смеялись слишком громко и почти до слёз.

Через несколько недель о бойкоте говорили реже. Но один старый клиент к Леви больше не вернулся, затем второй. Фрау Шульц стала заходить перед самым закрытием и каждый раз сначала оглядывалась. Господин Фогель перестал здороваться с Самуэлем.

А на витрине осталось белёсое пятно. Надпись удалось стереть, но под определённым углом солнца проступал контур первой буквы.

Людям не сообщили ничего нового о Самуэле Леви. Им начали объяснять, как теперь следует к нему относиться.

Глава 6. Список

После первого апреля мастерская Леви снова открылась. Марта приходила к восьми, Роза выставляла манекены, Самуэль поднимал решётку, посетители входили и выходили. Внешне прежний порядок восстановился быстро. Только белёсое пятно на витрине оставалось заметным, если утреннее солнце падало под углом.

Однажды Самуэль остановился перед стеклом.

— Надо ещё раз пройти растворителем, — сказала Марта.

— Не надо. Оставлю.

— Зачем?

— На память.

Роза выглянула из-за занавески.

— О чём именно ты хочешь помнить?

Самуэль пожал плечами.

— Пока не знаю.

Но пятно осталось не из-за его решения: краска просто въелась.

Через несколько дней Пауль впервые увидел новый кадровый формуляр. Директор Бремер вызвал его во время большой перемены; в кабинете уже стоял доктор Фабер. На столе лежал текст *Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums* (Закона о восстановлении профессионального чиновничества. — нем.) от 7 апреля 1933 года. Закон создавал правовую основу для политической и расовой «чистки» государственной службы, в том числе преподавательского состава государственных школ.

— Вы пока не чиновник в полном смысле, — сказал Бремер, — но проходите государственную педагогическую подготовку. Нам велено собрать сведения по преподавателям и стажёрам.

Формуляр спрашивал не только имя, дату рождения и образование. Требовались сведения о родителях, дедах и бабушках, религии, происхождении, политической и общественной деятельности.

Пауль перечитал строки.

— Зачем министерству знать, в какую церковь ходила моя бабушка?

Фабер произнёс от окна:

— Потому что государство неожиданно заинтересовалось бабушками.

— Доктор Фабер, — устало сказал Бремер.

— Я неправильно прочитал бланк?

Пауль спросил:

— А если ответы им не понравятся?

— Тогда решение будут принимать не здесь.

— Кого-нибудь уже касается?

Директор помолчал слишком долго.

— Заполните формуляр, господин Винтер.

В учительской Пауль начал писать: отец — Эрнст Винтер, механик; мать — Марта Винтер, швея. Дальше приходилось вспоминать людей, которых он почти не знал. До этого дня происхождение умершей бабушки не имело отношения к тому, умеет ли он объяснять школьникам Лессинга. Теперь имело.

Штольц сел напротив с таким же листом.

— Жена сказала, скоро потребуют родословную нашей кошки.

— Есть кошка?

— Есть.

— Тогда готовь документы.

Штольц усмехнулся и начал писать.

— В сущности, ничего страшного. Государство хочет знать, кто у него работает.

— Раньше не знали?

— Не так подробно.

— Вот именно.

— У тебя есть что скрывать?

— Нет.

— У меня тоже. Тогда зачем переживать?

Пауль не ответил. Фраза «если нечего скрывать, нечего бояться» всё чаще звучала разумно именно потому, что подменяла вопрос: почему государство вообще требует эти сведения?

В тот день в школе не было доктора Якоба Розенфельда, преподавателя латыни и древнегреческого. Ему было чуть больше тридцати; он был слишком молод, чтобы служить фронтовиком в Первую мировую, а значит, на предусмотренное для ряда ветеранов исключение рассчитывать не мог. Невысокий, худой, вечно растрёпанный Розенфельд умел рассказывать о Римской республике так, будто обсуждал людей, с которыми лично поссорился на прошлой неделе.

— Заболел? — спросил Пауль.

Фабер снял очки.

— Нет. Отстранён.

— На каком основании?

— Он еврей.

— И?

— Теперь этого может быть достаточно.

— Он хороший преподаватель.

— Знаю.

— Жалобы были?

— Нет.

— Тогда почему никто...

Фабер поднял ладонь.

— Не спрашивайте меня так, будто я подписывал закон.

На следующий день кабинет Розенфельда был закрыт. Его уроки распределили между коллегами. Ученикам отвечали, что неизвестно, когда он вернётся. В учительской ещё неделю стояла его коричневая чашка с отколотым краем. Потом она исчезла. Пауль так и не узнал, кто её забрал.

За ужином он рассказал семье.

— За что? — спросил Эрнст.

— Пока отстранили. Он еврей.

— Это я понял. А сделал что?

— Ничего, насколько знаю.

Марта перестала резать хлеб.

— Плохо преподавал?

— Хорошо.

— Жалобы?

— Нет.

Эрнст спросил о военной службе и предусмотренных исключениях. Пауль объяснил, что бывшие фронтовики и некоторые другие категории пока могли не подпадать под увольнение.

— То есть если человек успел сидеть со мной в окопе, он пока годится учить детей, а если был слишком молод — нет? — спросил отец.

Пауль молча кивнул.

Грета сказала:

— Лотта объясняла, государственная служба должна принадлежать людям, преданным немецкому народу.

За столом стало тихо.

Эрнст спросил:

— А Розенфельд ему не предан?

— Я его не знаю.

— Тогда откуда знаешь, что его надо увольнять?

— Я этого не сказала! Я просто повторила, что нам объясняли.

Фраза повисла в воздухе. Грета сама услышала её и отвела взгляд.

Через несколько дней она задала тот же вопрос Лотте на встрече Bund Deutscher Mädel — BDM (Союза немецких девушек). Лотта была всего около двадцати, но для пятнадцатилетних участниц казалась совершенно взрослой: спокойная, собранная, никогда не повышавшая голос.

— У моего брата в школе отстранили преподавателя, — сказала Грета. — Он еврей. А если он хорошо преподавал?

— Ты знаешь все обстоятельства?

— Нет.

— Твой брат знает?

— Наверное, тоже нет.

— Значит, решение принимали люди, у которых информации больше.

Ответ дал Грете облегчение. Действительно, невозможно знать всё. Но она подняла руку ещё раз.

— А если государство ошибётся?

Лотта посмотрела внимательнее.

— Почему ты думаешь, что оно ошиблось?

— Я не думаю. Просто спрашиваю.

Лотта подошла и положила ладонь ей на плечо.

— Вопросы — это хорошо. Важно только, откуда они рождаются: из желания понять или из недоверия.

По дороге домой Грета несколько раз возвращалась к этой фразе и никак не могла решить, где именно проходит граница между желанием понять и недоверием.

В конце апреля Паулю сообщили, что его Referendariat (референдариат, педагогическая стажировка) продолжается: собранные сведения не давали оснований для его отстранения. Он прочитал уведомление дважды.

— Поздравить? — спросил Фабер.

— С чем?

— Вам разрешили продолжить быть тем же человеком, которым вы были вчера.

Пауль усмехнулся, но затем снова посмотрел на бумагу. Самым неприятным было собственное облегчение. Значит, все эти дни он действительно боялся, хотя не мог даже точно назвать, чего именно могли «найти».

Первого мая Айзенфельд праздновал Tag der nationalen Arbeit (День национального труда. — нем.). Национал-социалистическое правительство впервые сделало 1 мая законным государственным праздником с сохранением заработной платы и превратило старый день рабочего движения в масштабное государственное торжество.

Эрнст утром достал хороший костюм.

— Ты куда? — спросила Марта.

— На праздник труда.

— Добровольно?

— Мастер сказал, присутствие желательно.

Пауль поднял брови.

— Очень добровольно.

— Не начинай.

Грета тоже готовилась к мероприятию вместе с Bund Deutscher Mädel — BDM (Союзом немецких девушек). Праздник ей понравился: музыка, флаги, колонны, речи о достоинстве труда и преодолении классовой вражды. Эрнст вернулся вечером в неожиданно хорошем настроении.

— Неплохо, — признал он. — Пиво хорошее. И речь нормальная.

— О чём? — спросил Пауль.

— Что рабочий и хозяин не должны воевать, все работают для Германии.

— Понравилось?

— Красиво сказано.

На следующее утро Эрнст пришёл на завод и не увидел профсоюзной доски объявлений. Отто Краузе сообщил, что помещения свободных профсоюзов заняты. 2 мая полиция, Sturmabteilung — SA (Штурмовые отряды) и Schutzstaffel — SS (Охранные отряды) по всей Германии захватывали профсоюзные учреждения; независимое профсоюзное движение уничтожали.

— Подожди, — сказал Эрнст. — Вчера был праздник рабочего?

— Был.

— Вчера нам рассказывали, как нас уважают?

— Рассказывали.

— А сегодня закрыли наш профсоюз?

Отто пожал плечами.

Вскоре вместо независимых профсоюзов появилась Deutsche Arbeitsfront — DAF (Германский трудовой фронт), контролируемая национал-социалистическим режимом.

Вечером Эрнст сидел за столом мрачнее обычного.

— Вчера рабочий был основой Германии, — сказал он. — Сегодня рабочему объяснили, что его собственная организация ему больше не нужна.

Марта осторожно заметила:

— Может, новая будет лучше.

— Может.

Отец посмотрел на Пауля.

— Вот. Я тоже научился говорить «может».

Десятого мая радио сообщало о публичных сожжениях книг в университетских городах. Deutsche Studentenschaft (Немецкое студенчество — общегерманская студенческая организация. — нем.) проводило кампанию Aktion wider den undeutschen Geist (Акция против негерманского духа. — нем.), кульминацией которой стали костры с произведениями еврейских, социалистических, пацифистских и других объявленных «нежелательными» авторов.

Пауль слушал стоя. Среди названных фамилий прозвучал Генрих Гейне. Он подошёл к книжной полке, достал томик и открыл знакомую страницу.

— Помнишь? — спросил Грету.

Она подошла.

Пауль прочитал:

Denk ich an Deutschland in der Nacht,

Dann bin ich um den Schlaf gebracht.

Когда о Германии думаю ночью,

До самого утра не сомкнуть мне очей. — поэтический перевод.

— Ты это преподавал, — сказала Грета.

— Да.

— И теперь его книги жгут?

— Да.

— Но Гейне — немецкий поэт.

— Был им и вчера.

— Тогда почему?

— Потому что кто-то решил, какие мысли считать «немецкими».

— А если в книге плохие идеи?

— Тогда с ними спорят.

— А если очень плохие?

— Спорят сильнее.

Грета посмотрела на книгу.

— Но не жгут?

Пауль ответил после паузы:

— Книге всё равно, сожгут её или нет. Костёр нужен людям, которые смотрят. Он показывает им, что существуют мысли, которых от них не хотят.

На следующий день Пауль пришёл в школу раньше и первым делом проверил книжный шкаф. Гейне стоял на месте. В кабинет вошёл Фабер.

— Проверяете, не убежали ли книги за ночь?

— Пока нет.

— Не привыкайте к этому слову.

Выяснилось, что директор получил указание провести ревизию школьной библиотеки и убрать из открытого доступа литературу, объявляемую политически и мировоззренчески нежелательной. Конкретные перечни и рекомендации поступали постепенно; кампания против

«негерманской» литературы не была единым законом о школьных библиотеках, но давление на библиотеки и учебные учреждения быстро усиливалось.

— Всё начинается со списка, — сказал Пауль. — Сначала чиновники, потом учителя, теперь книги.

— Не задавайте вопрос, что будет дальше, если не готовы однажды получить ответ, — произнёс Фабер.

Когда Пауль снимал с полки несколько томов, Руди Штамм спросил:

— Почему Гейне нельзя?

Раньше Пауль сразу начал бы объяснять. Теперь вспомнил мать.

— А ты как думаешь?

— Не знаю.

— Тогда запомни вопрос.

Вечером Грета сама пришла к брату.

— Я спросила Лотту про Гейне.

— И?

— Она сказала, немецкий язык ещё не делает писателя частью немецкого духа. Что его творчество чуждо нашему народу.

Пауль молчал.

— Ну? — спросила Грета.

— Что такое «чуждый дух»?

Она вздохнула.

— Я так и спросила.

— И что ответила?

— Что я пока слишком молода, чтобы понимать некоторые вещи.

Пауль не засмеялся.

— Тебя устроило?

— Нет. Если я слишком молода, чтобы понять, почему Гейне плохой, то почему я достаточно взрослая, чтобы соглашаться, что он плохой?

Пауль почувствовал радость и сразу постарался её скрыть.

— Это очень хороший вопрос.

— Только не начинай лекцию.

— Не буду.

— Лотта ведь не плохая.

— Я этого не говорил.

— И девочки там хорошие. Мне нравится туда ходить.

— Знаю.

— Тогда почему всё время получается...

Она замолчала.

Пауль не стал подсказывать слово.

К началу лета Айзенфельд внешне выглядел спокойнее. Уличных драк стало меньше, правительство больше не менялось, на заводе появился новый заказ, Эрнст снова работал полную неделю. В доме стало легче с деньгами. Всё это было настоящим, и Пауль понимал, почему люди радовались.

Одновременно исчез профсоюз. Исчез Розенфельд. Исчез Кернер. Исчезли некоторые газеты и книги. Потери распределялись между разными людьми, и потому каждому было легче видеть то улучшение, которое касалось именно его.

Однажды Марта вернулась из мастерской и дважды пересчитала деньги.

— Заказов меньше? — спросил Эрнст.

— Немного.

— Самуэль что говорит?

— Летом всегда тише.

Грета подняла голову от книги.

— Мириам сказала, они в этом году не поедут к родственникам. Отец считает, сейчас лучше не тратить деньги.

На следующий день она спросила подругу, всё ли нормально.

— Всё нормально, — ответила Мириам.

Грета услышала знакомую фразу. Так говорила мать, когда считала деньги; отец — когда на заводе грозили сокращения; Пауль — после неприятного разговора в школе. Она впервые подумала, что взрослое «всё нормально» иногда означает именно обратное.

Глава 7. Одна партия

Лето 1933 года пришло в Айзенфельд жарким. Уже в июне окна школы приходилось держать открытыми весь день, ученики смотрели во двор чаще, чем на доску, а Пауль понимал их лучше, чем хотел показать.

Однажды в последние десять минут урока он сдался.

— Хорошо. Закрывайте книги.

Класс мгновенно ожил.

— Отпустите раньше? — спросил Руди.

— Нет. Поговорим о чём-нибудь другом.

— О политике?

— Нет.

— Почему?

— Потому что я хочу спокойно закончить педагогическую стажировку.

Класс засмеялся. Доктор Фабер на последней парте кашлянул.

Темы предлагали каникулы, футбол, поездки. Руди поднял руку.

— Почему сейчас в городе почти нет партийных плакатов? Раньше были разные, а теперь почти везде только одна партия.

Пауль посмотрел на него.

— Ты уверен, что это вопрос по литературе?

— Вы сказали предлагать.

Вопрос был простым, но ответ уже требовал осторожности.

— Политическая система Германии изменилась. Коммунистическая партия фактически устранена, социал-демократическая запрещена, другие партии распускаются или прекращают деятельность.

— А останется одна?

— Похоже на то.

— Это хорошо?

Класс притих.

Пауль помедлил.

— Это зависит от того, что человек считает хорошим.

— А вы?

— А я считаю, что жара плохо влияет на любопытство учеников.

Смех снял напряжение. После звонка Фабер остался.

— Хорошо выкрутились.

— Это похвала?

— Наблюдение. Вы заметили, Винтер? Раньше учитель опасался дать неправильный ответ. Теперь начинает опасаться самого вопроса.

14 июля 1933 года появился Gesetz gegen die Neubildung von Parteien (Закон против образования новых партий. — нем.). Он закрепил уже сложившееся положение: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — NSDAP (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) стала единственной разрешённой политической партией страны, а создание новых партий объявлялось уголовно наказуемым.

Пауль прочитал сообщение за завтраком.

— Теперь официально одна, — сказал он.

— Какая? — спросил Эрнст.

Пауль посмотрел на отца.

— Уточняя, — невозмутимо сказал тот.

Грета заинтересовалась:

— Значит, больше не будет ни социал-демократов, ни остальных?

— Как легальных партий — нет.

— Может, так проще? Они всё равно только мешали друг другу.

Эрнст спросил:

— Проще кому?

— Государству.

— Если на заводе оставить одного механика, директору тоже будет проще.

— Это не одно и то же.

— Я и не говорил, что одно.

На заводе новый партийный закон обсуждали куда меньше, чем Пауль ожидал. Работы становилось больше, Эрнст снова получал полную недельную зарплату, Отто Краузе перестал занимать деньги, на одном участке приняли нескольких новых рабочих. Новые детали и полный конверт с зарплатой можно было потрогать руками; политические свободы были понятными.

Во время перерыва Отто сказал:

— А всё-таки лучше стало.

— С работой — да, — согласился Эрнст.

— Значит, эти ребята знают, что делают.

— Профсоюза нет.

— Опять ты.

— Кто теперь говорит с хозяином о расценках?

— Deutsche Arbeitsfront — DAF (Германский трудовой фронт).

— А кто там представляет рабочего?

Отто пожал плечами.

— Я получаю зарплату полностью. Мне сейчас этого хватает.

Эрнст не стал спорить. У Отто было трое детей, и впервые за два года тот мог покупать им мясо не только по воскресеньям. Иногда политический спор проигрывает не другой идее, а ужину.

В июле Грета попросила родителей разрешить ей официально вступить в Bund Deutscher Mädel — BDM (Союз немецких девушек). До этого она ходила на встречи вместе с Лизой, теперь хотела стать полноправной участницей.

— Почему? — спросила Марта.

Грета готовилась к возражениям, но не к такому вопросу.

— Мне нравится.

— Что именно?

— Что мы вместе. Там всё понятно: походы, спорт, занятия, помощь, задания. В школе каждый сам за себя, дома вы всё время спорите, а там...

— Там не спорят? — осторожно спросил Пауль.

— Там не надо каждый раз доказывать, что ты прав.

Эрнст сказал:

— Я против.

— Почему?

Отец и сам не сразу нашёл ответ.

— Не люблю, когда дети ходят строем.

— Мне пятнадцать осенью!

— Огромная разница.

Марта посмотрела на дочь.

— Я бы разрешила. Но обещай: если чего-то не понимаешь, ты имеешь право сказать, что не понимаешь.

— Конечно.

— Не «конечно». Обещай.

— Обещаю.

— И ещё. Если тебе скажут, что человек плох только потому, кем родился, сначала вспомни тех, кого знаешь сама.

Грета сразу поняла.

— Опять Леви.

— Не «опять Леви». Мириам, Роза, Самуэль — конкретные люди.

Эрнст недовольно спросил:

— То есть моё «против» ничего не значит?

Марта спокойно ответила:

— Можешь запретить. Тогда она будет хотеть туда ещё сильнее.

Грета возмутилась:

— Я не стала бы ходить тайком!

— Конечно, — сказала мать.

Пауль улыбнулся.

Так Грета получила разрешение.

Через две недели она принесла форму. Часть вещей досталась от девушки постарше. Марта немедленно распорол рукав и стала подгонять по размеру.

— Нормально сидит, — протестовала Грета.

— Я швея.

— И что?

— Значит, ненормально.

Пауль стоял в дверях.

— Символично.

— Что? — спросили обе.

— Мама перешивает форму национал-социалистической организации.

Марта посмотрела на него.

— Я перешиваю рукав моей дочери.

— Именно.

Когда всё было готово, Грета выпрямилась перед зеркалом. Белая блузка, тёмная юбка, платок. Она выглядела старше.

— Ну? — спросила она брата.

— Тебе идёт.

— Правда?

— Правда.

Грета улыбнулась так по-детски, что на секунду форма перестала что-либо означать.

Осенью Брандт принёс в учительскую методические материалы. Новые рекомендации предлагали подчёркивать в литературе героизм, жертвенность, воинский дух, связь с народом и землёй. Сами темы не были чужды немецкой классике. Проблема возникала в том, что рядом всё чаще появлялись авторы, которых следовало исключить.

— Ремарк? — спросил Пауль.

Брандт поморщился.

— Пораженчество. Он опорочил немецкого солдата.

— Мой отец был солдатом. Не заметил, чтобы книга его опорочила.

— Ваш отец механик.

— Именно.

Брандт забрал брошюру.

— Когда закончите стажировку, господин Винтер, вам придётся научиться не только задавать вопросы, но и принимать ответы.

После его ухода Фабер сказал:

— Он прав в одном. Скоро у вас второй государственный экзамен, потом понадобится место. Пора решить, насколько вам нравится спорить.

— Вы предлагаете молчать?

— Я предлагаю понимать цену каждого слова. Молчать из трусости и молчать потому, что выбираешь момент, — не одно и то же.

— А как понять разницу?

— Обычно слишком поздно.

Осенью Мириам впервые не пришла к Грете на день рождения. Ей исполнилось пятнадцать. Марта испекла пирог, Пауль подарил книгу, Эрнст — недорогие наручные часы, которые сам отремонтировал. Пришли Лиза и две девочки из Bund Deutscher Mädel — BDM (Союза немецких девушек). Мириам обещала быть к четырём, но не появилась.

Около половины шестого раздался звонок. На пороге стоял Самуэль с небольшой коробкой.

— От нас.

— А Мириам?

Он помедлил.

— Не придёт. Голова болит.

— Я могу зайти завтра?

— Лучше через несколько дней.

Грета нахмурилась.

— Что случилось?

— Ничего.

Из комнаты донёсся голос Пауля:

— Очень популярное слово.

Самуэль невесело улыбнулся.

В коробке лежал тонкий серебряный браслет. Грета сразу узнала его: Мириам носила его всё лето. В записке было всего несколько слов:

Für Greta. Damit du mich nicht vergisst. (Для Греты. Чтобы ты меня не забыла. — нем.)

— Почему я должна её забыть? — спросила Грета.

На следующий день Марта сходила к Розе и вернулась мрачной. Несколько девочек в школе отказались сидеть с Мириам за одним столом на совместном занятии. Одна сослалась на отца, другая сказала, что «так теперь правильнее». Учительница не спорила и просто пересадилась Мириам. Это не было государственным распоряжением и не являлось ещё общей школьной нормой; именно поэтому случившееся было особенно неприятным — люди начинали устанавливать границы сами, стараясь угадать направление времени.

— Учительница позволила? — спросила Грета.
— Видимо.
— Это неправильно.
Пауль молчал.
— Что? — резко спросила сестра.
— Ничего. Ты уже сама сказала.
— Лотта говорит, разделение иногда необходимо, чтобы сохранить общность.
Слова прозвучали заученно. Марта отвернулась к плите.
Пауль спросил:
— А ты что думаешь?
Грета посмотрела на браслет.
— Мириам ничего мне не сделала.
— Я спрашивал не об этом.
— Знаю! Почему всё обязательно должно быть таким сложным? Там говорят одно, здесь другое. Ты спрашиваешь, мама спрашивает. Я хочу просто знать, что правильно.
— Этого тебе никто не сможет выдать готовым, — сказал Пауль.
— Лотта может.
Фраза вырвалась прежде, чем Грета успела подумать.
Эрнст встал, подошёл и обнял дочь.
— Иди спать.
Она уткнулась ему в плечо.
— Почему нельзя просто оставить всех в покое?
— Хороший вопрос, — тихо сказал отец.
На следующий день Грета пришла в класс раньше и села рядом с Мириам. Подруга посмотрела на неё.
— Здесь сидит Хельга.
— Сегодня посидит в другом месте.
— Не надо.
— Почему?
— Потому что не надо.
Грета поняла, что Мириам почти плачет.
— Ты поэтому вчера не пришла?
— Голова болела.
— Врёшь.
Мириам резко повернулась:
— Я не хочу быть твоей хорошей еврейской подругой, которую ты пришла спасать.
Грета отшатнулась.
— Я не спасаю тебя.
— Тогда зачем села?
Ответить она не успела. Вошла учительница и приказала Грете вернуться на место. Грета спросила, почему, но учительница повторила приказ. Мириам тихо сказала:
— Иди.
После уроков Лиза догнала Грету.
— Зачем ты устроила это с Мириам?
— Я ничего не устраивала.
— Ты понимаешь, что всё меняется.
— Это не ответ.
Фраза прозвучала голосом Пауля. Грета сама услышала.

Вечером она сняла форму Bund Deutscher Mädel — BDM (Союза немецких девушек), аккуратно повесила и положила браслет Мириам на стол. Ей очень хотелось, чтобы две мысли могли оставаться истинными одновременно: Лотта знает, что делает; Мириам не сделала ничего плохого.

Грета ещё верила, что кто-нибудь однажды объяснит, как их совместить. Она не понимала, что именно с таких противоречий и начинается выбор — не тогда, когда человеку предлагают очевидное добро и очевидное зло, а тогда, когда предлагают отказаться от конкретного человека ради идеи, которую он уже успел полюбить.

Глава 8. Правильные ответы

К осени 1933 года Пауль научился заполнять анкеты быстрее. Государство снова и снова спрашивало имя, образование, происхождение, религию родителей и предков, политическую и общественную принадлежность. В дополнительном кадровом листе теперь интересовались и членством в профессиональных организациях.

Пауль поставил напротив Nationalsozialistischer Lehrerbund — NSLB (Национал-социалистического союза учителей) короткое Nein. (Нет. — нем.).

Штольц, сидевший напротив, заметил.

— Ещё не вступил?

— Нет.

— Почему?

— А ты?

— В августе.

— Зачем?

Штольц раздражённо отложил ручку.

— Потому что хочу спокойно работать. У меня жена, двое детей, мне сорок два. Я не собираюсь становиться партийным оратором. Старые учительские объединения теряют значение, а это теперь главная профессиональная организация.

— Национал-социалистическая.

— Я умею читать.

— Ты национал-социалист?

— Нет.

— Тогда зачем вступил?

— Я только что ответил.

Штольц понизил голос.

— У тебя скоро второй государственный экзамен. Потом понадобится место. Что скажешь, когда окажется, что почти все коллеги в Nationalsozialistischer Lehrerbund — NSLB (Национал-социалистическом союзе учителей), а ты один принципиально в стороне?

— Скажу, что не хочу вступать.

— Красиво. Особенно если готов после этого жить частными уроками.

— Ты преувеличиваешь.

— Надеюсь.

Он встал.

— В союзе пока никто не требует от меня верить во всё, что говорит партия.

Пауль улыбнулся.

— Опять «пока».

— Чёрт бы побрал тебя с этим словом.

Дома о разговоре Пауль не рассказывал. Политика и так всё чаще приходила к семейному столу без приглашения. В тот вечер Марта принесла остаток тёмно-синей ткани и решила

сшить Грете юбку. Девушка стояла на табурете, мать прикладывала ткань, Эрнст читал, Пауль проверял сочинения. На несколько минут мир снова был простым.

Пока в дверь не постучали.

Пришла Мириам. В руках у неё были катушки ниток и коробочка булавок от Розы. Марта пригласила её внутрь, Грета потащила в комнату показывать будущую юбку.

Когда девушки ушли, Пауль спросил мать о мастерской.

— Работает.

— Заказов много?

— Меньше. Роза отпустила Эльзу.

— Совсем?

— Говорит, временно.

Марта невесело улыбнулась собственному слову.

В комнате Грета показывала Мириам форму Bund Deutscher Mädel — BDM (Союза немецких девушек). Подруга провела рукой по ткани.

— Тебе идёт.

— Правда?

— Да.

Через секунду улыбка исчезла.

— Что? — спросила Грета.

— Я не могу туда вступить.

— Ты хотела?

— Не знаю. В этом и дело. Раньше я могла сама не хотеть. Могла сказать, что мне скучно, что не люблю ходить строем или что не нравится Лиза. А теперь мне просто нельзя.

Грета почувствовала раздражение, хотя понимала, что Мириам не обвиняет её.

— Но это не я придумала.

— Знаю.

— Тогда почему ты смотришь так, будто я виновата?

— Я просто завидую.

— Форме?

— Может быть. Она правда красивая.

Напряжение ослабло. Они снова заговорили о юбке, и Грета решила, что всё в порядке. Именно так она постепенно училась жить с противоречиями: не разрешать их, а находить объяснение, позволяющее оставить всё на своих местах. Мириам оставалась подругой. Bund Deutscher Mädel — BDM (Союз немецких девушек) оставался хорошим местом. Если Мириам туда нельзя, это неприятно, но Грета не виновата. Если правило существует, у него, вероятно, есть причины, которых она пока не знает.

Зимой Пауль готовился ко второму государственному экзамену. Фабер становился придирчивее.

— Слишком быстро объясняете.

— В прошлый раз было медленно.

— В прошлый раз было слишком медленно.

— Может, вы сами проведёте урок?

— Я уже доказал, что умею.

После одного занятия наставник попросил Пауля повторить начало урока в пустом классе.

— Ученики ушли.

— Представьте их.

— Вы хотите, чтобы я преподавал партам?

— Если научитесь удерживать внимание пустой парты, с учениками будет проще.

Пауль начал. Через несколько минут Фабер остановил.

— Вы боитесь.

— Чего?

— Говорить.

— Я говорю уже пять минут.

— Теперь вы прежде каждой фразы думаете, нельзя ли её понять политически.

Пауль замолчал.

— Это заметно?

— Мне — да. Экзаменатору, возможно, тоже.

— Значит, надо говорить свободно и осторожно одновременно.

— Добро пожаловать во взрослую жизнь.

Фабер спросил, приходило ли Паулю приглашение вступить в Nationalsozialistischer Lehrerbund — NSLB (Национал-социалистический союз учителей).

— Да. А вы?

— Уже вступил.

Пауль не ожидал.

— Вы?

— Мне пятьдесят восемь, а не сто восемьдесят.

— Я не об этом.

— Знаю.

— Почему?

Фабер снял очки.

— Потому что хочу преподавать. Потому что мне нужна зарплата. Потому что не хочу оставлять школу одним Брандтам. Из страха, упрямства и профессиональной привычки. Выберите ответ, который вам удобнее.

— Но это национал-социалистическая организация.

— Да.

— И разницы с партией нет?

— Есть. Nationalsozialistischer Lehrerbund — NSLB (Национал-социалистический союз учителей) — профессиональный союз, связанный с партией, но членство в нём не тождественно членству в Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — NSDAP (Национал-социалистической немецкой рабочей партии).

— А завтра?

— Не знаю. Моё любимое слово теперь «сегодня».

Письмо от Nationalsozialistischer Lehrerbund — NSLB (Национал-социалистического союза учителей) лежало у Пауля между книгами. Формально это было предложение присоединиться к главной учительской организации нового государства; прямой угрозы в тексте не содержалось.

Грета, увидев письмо, сказала:

— Вступай.

— Почему?

— Потому что ты учитель.

— Это достаточная причина?

— Если без этого потом будут проблемы с работой — да.

— А если организация мне не нравится?

— Ты ведь не обязан соглашаться со всем.

Пауль неожиданно рассмеялся.

— Что?

— Ничего. Просто очень точная формула.

— Ты опять издеваешься.

— Нет.

— Если надо вступить, чтобы учить детей, вступай. А если потом попросят что-нибудь ещё, тогда решишь.

— А потом ещё?

— Опять решишь.

— И сколько раз?

Грета раздражённо ответила:

— Я не знаю!

— Вот и я.

К началу 1934 года давление стало менее заметным именно потому, что превращалось в норму. Учительская привыкала к циркулярам, школьные мероприятия всё чаще имели политический характер, а участие в них называли добровольным так, что отсутствие всё равно замечали. Брандт носил партийный значок ежедневно, Штольц — значок Nationalsozialistischer Lehrerbund — NSLB (Национал-социалистического союза учителей). Фабер тоже. У Пауля на лацкане не было ничего.

После педагогической конференции представитель окружного школьного управления Кемпф попросил Пауля остаться. Он просмотрел его папку: университетские результаты хорошие, практика хорошая, политических организаций до 1933 года нет.

— В Nationalsozialistischer Lehrerbund — NSLB (Национал-социалистический союз учителей) ещё не вступили?

— Нет.

— Почему?

— Хочу решить, нужно ли мне это.

— Что именно смущает?

— Я считаю преподавание профессиональной деятельностью и не уверен, что профессиональная организация должна определять мировоззрение учителя.

Кемпф не выглядел враждебно.

— Новое государство не разделяет профессию и мировоззрение так резко, как раньше. Учитель формирует человека; государству безразлично, кто и в каком духе это делает.

— Членство обязательно для экзамена?

— Нет.

— Для назначения?

— Я этого тоже не сказал.

— Тогда зачем вы спрашиваете?

Кемпф слегка улыбнулся.

— Иногда отсутствие человека там, где находятся почти все его коллеги, говорит громче присутствия.

После беседы Пауль спросил Фабера:

— Это шантаж?

— Нет.

— А что?

Старик подумал.

— Новая форма вежливости.

Вечером Пауль положил заявление о вступлении на кухонный стол и рассказал семье.

— Хочешь вступать? — спросил Эрнст.

— Нет.

— Тогда зачем?

— Через несколько месяцев мне понадобится место.

- Без членства не дадут?
- Никто так не сказал.
- Тогда откуда знаешь?

Пауль раздражённо ответил, что всё не так просто, затем извинился и объяснил разговор с Кемпфом, пример Фабера и Штольца, общий поворот школы.

- То есть никто тебя не заставляет, — сказал Эрнст.
- Нет.
- Но отказ могут запомнить.
- Именно.

Марта спросила:

- Почему тебя это так мучает?
- Потому что однажды кто-нибудь скажет: ты сам вступил.
- А ты ответишь, что хотел работать учителем. Это правда?
- Да.
- Тогда так и ответишь.
- Очень просто.
- Я не сказала, что просто.

Эрнст проверил название заявления.

- В партию не вступаешь?
- Нет.

— Тогда я трагедии не вижу. Только не начинай однажды рассказывать, будто вступил потому, что всегда верил.

- Не начну.

Через два дня Пауль опустил заявление в почтовый ящик. Щёлкнула крышка, и он неожиданно понял Грету. Не её убеждения и не Лотту, а сам механизм. Человек редко говорит себе: «Сегодня я уступлю принципом». Он говорит: «Это мелочь. Это ничего не меняет. Я остаюсь собой. Зато смогу сделать что-то полезное».

В феврале 1934 года Пауль сдавал второй государственный экзамен. Ночь перед ним почти не спал. В три часа Грета нашла брата на кухне перед конспектами.

- Ты боишься.
- Немного.

Она взяла первый лист.

- «Воспитательная функция немецкой классической литературы». Какова она?

Пауль ответил сразу:

- Научить человека оставаться человеком.

Грета рассмеялась.

- Это точно не экзаменационный ответ.
- Поэтому и не скажу.
- А какой скажешь?

Он произнёс аккуратную формулу о нравственном развитии, национальном культурном наследии и формировании характера.

- Первый был лучше.
- Знаю.
- Тогда почему нельзя его сказать?
- Можно. Экзаменатор ждёт другого.
- Правильного?
- Ожидаемого.
- Это одно и то же?

Пауль улыбнулся.

— Я плохо на тебя влияю.

Экзамен он сдал хорошо. Практический урок прошёл почти идеально, хотя один из экзаменаторов отметил его «склонность к интеллектуализации простых воспитательных вопросов».

Вечером директор Бремер сообщил, что с нового учебного периода в школе освобождается ставка преподавателя немецкого языка и литературы.

— Здесь? Полная?

— Здесь. Полная. Фабер рекомендует вас, я тоже.

Пауль почувствовал, как долгий путь вдруг становится реальным.

— Что нужно?

— Обычные кадровые документы и политическая характеристика для назначения на государственную должность.

— От кого?

— От местных партийных инстанций запрашиваются сведения о политической благонадёжности кандидатов.

Пауль усмехнулся.

— Они меня знают?

— Для заключения это не всегда требуется.

— И если спросят взгляды?

— Ответьте разумно.

— Что значит разумно?

Бремер посмотрел прямо.

— Не заставляйте человека, который хочет взять вас на работу, объяснять вам такие вещи.

Дома праздновали экзамен и возможность остаться в школе. Пауль не рассказал о политической характеристике. Хотел хотя бы один вечер оставить семье только хорошую часть новости.

Позднее Грета пришла к нему с браслетом Мириам на руке.

— Мы опять спорили.

— О чём?

— О союзе. Она говорит, нас учат ненавидеть евреев. Но никто не говорит: «Идите и ненавидьте Мириам». Нам говорят про народ, расу, общность... Это другое.

Пауль слушал.

— Я ей объяснила, что Bund Deutscher Mädel — BDM (Союз немецких девушек) — это союз, Мириам — Мириам, политика — политика, дом — дом. Почему я должна выбирать?

— Пока не должна, — сказал Пауль.

Грета сразу ухватила за ответ.

— Вот. Значит, можно не смешивать.

После её ухода Пауль посмотрел на членский билет Nationalsozialistischer Lehrerbund — NSLB (Национал-социалистического союза учителей), лежавший в ящике стола. Грета хотела разделить жизнь на комнаты и держать двери между ними закрытыми.

Сам Пауль уже делал почти то же самое. Только называл это профессиональной необходимостью.

Глава 9. Господин учитель

Весной 1934 года Пауль получил письмо, от которого зависело больше, чем от экзаменационной отметки. Конверт лежал на кухонном столе рядом с чашкой. Марта поставила его туда вместе с утренней почтой и несколько раз прошла мимо, не открывая.

Когда Пауль вошёл, она сразу сказала:

— Тебе.

— Вижу.

— Из школы.

— Вижу.

— Открой.

— Сначала кофе.

Эрнст поднял глаза от газеты.

— Сделай, что говорит мать. Я живу с ней двадцать шесть лет и знаю: иначе кофе не дадут.

Марта посмотрела на мужа.

— Могу забрать и твой.

Эрнст немедленно замолчал.

Грета появилась в дверях, ещё сонная.

— Что случилось?

— Пауль получил письмо и издевается над матерью.

— Открывай!

Под взглядом всей семьи Пауль вскрыл конверт. В письме директор Бремер официально сообщал, что школа рекомендует Пауля Винтера для назначения на освобождающуюся постоянную ставку преподавателя немецкого языка и литературы.

Грета вскрикнула первой.

— Я знала!

Марта прикрыла рот ладонью. Эрнст только кивнул, но лицо изменилось.

— Значит, всё?

— Нет. Это рекомендация директора. Дальше окружное управление и кадровая проверка.

— Опять? — спросил отец.

— Опять.

Марта села.

— Экзамен сдал, директор доволен, Фабер доволен. Чего ещё надо?

— Правильного ответа на неправильный вопрос.

Грета закатила глаза.

— Опять загадки.

Через три дня пришло приглашение на собеседование в местную организацию Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — NSDAP (Национал-социалистической немецкой рабочей партии). Подобные партийные заключения о политической благонадёжности всё заметнее влияли на кандидатов в государственную службу, продвижение чиновников и кадровые решения. Формально Паулю не предлагали вступить в партию; от него ждали, что он не вызовет политических сомнений.

Помещение находилось недалеко от ратуши, в здании бывшей страховой конторы. Над входом висел флаг. За столом в приёмной сидела молодая женщина.

— Фамилия?

— Винтер.

Она нашла строку.

— Пауль Винтер, преподаватель?

— Кандидат на должность.

— Значит, преподаватель. Садитесь.

На стене висел портрет Гитлера. В комнате ожидали ещё двое мужчин. Никто не разговаривал.

Когда Пауля вызвали, за столом сидели двое. Одного он узнал: Крюгер, местный партийный функционер, выступавший на Марктплац в январе 1933 года. Второй, сухой мужчина с тонкими губами, не представился.

Крюгер открыл папку.

— Пауль Винтер. Двадцать шесть лет. Уроженец Айзенфельда. Отец — механик Эрнст Винтер, мать — швея Марта Винтер. Второй государственный экзамен сдан. В Nationalsozialistischer Lehrerbund — NSLB (Национал-социалистический союз учителей) вступили недавно.

— Да.

— Почему не раньше?

— Не видел необходимости.

— А теперь увидели?

— Это основная профессиональная организация учителей.

— Только профессиональная?

Пауль почувствовал ловушку.

— Нет. Она связана с мировоззрением нового государства.

Крюгер кивнул.

Второй мужчина спросил:

— Вы разделяете цели национал-социалистического государства?

— Какие именно?

Крюгер слегка улыбнулся.

— Вы всегда уточняете вопрос?

— Если он допускает несколько ответов.

— Учитель литературы.

Он стал перечислять: порядок, борьба с безработицей, национальное единство, сильное государство. Пауль отвечал осторожно: работу людям он считал благом, прекращение уличного насилия — тоже; сила государства, по его мнению, должна служить гражданам.

— Вы очень осторожный человек, господин Винтер.

— Я учитель.

— Господин Брандт характеризует вас как способного преподавателя и человека, склонного к излишнему интеллектуализму.

Пауль понял, что школьные характеристики уже живут собственной жизнью.

— Возможно.

— Участвуете в общественных мероприятиях?

Пауль назвал школьные церемонии и Первомайское празднование.

— На факельном шествии 30 января 1933 года были?

— Нет.

— Почему?

— Проверял работы.

Крюгер рассмеялся.

— Расслабьтесь. Это не уголовное дело.

Пауль улыбнулся едва заметно.

Потом начались вопросы о членстве в старых партиях и организациях. Коммунистических — нет. Социал-демократических — нет. Либеральных — нет. Политических студенческих объединений — нет.

— Близкие знакомые еврейского происхождения есть? — спросил второй мужчина.

Пауль помолчал.

— Да. Семья Леви.

— Портной?

— Да.

— Ваша мать у него работает?

— Да.

— До сих пор?

— Да.

Крюгер сделал отметку.

— Это проблема? — спросил Пауль.

— А вы думаете?

— Вы записали.

— Мы записываем сведения.

— Зачем?

Второй мужчина недовольно поднял голову, но Крюгер остановил его жестом.

— Ваша мать работает там добровольно?

— Разумеется.

— Вы считаете это правильным?

Пауль почувствовал, как вспотели ладони. Одно короткое «да» было правдивым, но в этой комнате весило иначе, чем дома.

— Я считаю, что моя мать сама имеет право решать, где ей работать.

— Осторожный ответ.

— Правдивый.

Крюгер сделал ещё одну отметку.

После вопросов об отце и семейных взглядах папка почти закрылась, но напоследок Крюгер спросил:

— Что вы считаете главной задачей учителя?

Пауль знал ожидаемую формулу: формирование характера, национальное сознание, служение общности. Вспомнил Грету ночью на кухне и её слова о первом, неэкзамениционном ответе.

— Научить ребёнка пользоваться собственной головой.

Второй мужчина поднял взгляд.

— Только?

— Нет. Читать, писать, понимать язык и литературу, выражать мысль, отвечать за поступки.

— А национальное воспитание?

— Человек должен знать свою страну и её культуру.

— Любить?

— Желательно.

— Служить?

— Если потребуется.

— Подчиняться?

Пауль выдержал паузу.

— Закону.

— Только закону?

— Государству в пределах закона.

Крюгер откинулся на спинку стула.

— Очень юридически для литератора.

— Я не юрист.

— Заметно.

На этом беседа закончилась. У двери Крюгер остановил его:

— Вы действительно хороший учитель?

Пауль удивился.

— Думаю, да.

— Хорошо. Германии нужны хорошие учителя.

На улице Пауль впервые за всё время глубоко вдохнул.

Дома Марта сразу увидела его лицо и не стала спрашивать, пока он не поел. Потом Эрнст сказал:

— Ну?

— Жив.

— Это вижу. Что спрашивали?

— В том числе про маму и Леви.

Марта замерла.

— Что именно?

— Почему ты продолжаешь там работать.

— И что ты сказал?

— Что ты решаешь сама.

Она кивнула.

— Правильно.

Грета осторожно предположила:

— Может, они просто собирают сведения.

Пауль посмотрел на неё.

— Может.

Она сразу нахмурилась.

— Не надо так говорить.

Ответ пришёл через две недели. Пауль Винтер назначался преподавателем немецкого языка и литературы городской школы Айзенфельда с начала нового учебного периода.

Сначала он почувствовал не радость, а облегчение. Только потом — радость.

Марта заплакала и рассердилась на себя за слёзы. Эрнст пожал сыну руку, затем быстро обнял.

— Молодец. Теперь настоящий учитель.

— Похоже.

— Плохо. Будешь ещё больше умничать.

Грета прочитала письмо и торжественно объявила:

— Господин учитель Винтер.

Пауль поклонился.

— К вашим услугам.

— Теперь мне надо обращаться к тебе на «вы»?

— Обязательно.

— Тогда никогда.

На следующий день Пауль показал письмо Фаберу.

— Поздравляю, — сказал наставник.

— И всё?

— Вы ждали речь?

— Хотя бы маленькую.

Фабер открыл шкаф и начал вынимать книги.

— Что вы делаете?

— Освобождаю место. Кабинет скоро ваш.

Пауль не сразу понял.

— Вы уходите?

— На пенсию.

— Сейчас? Почему не сказали?

— Потому что вы и без того слишком много спрашиваете.

Пауль решил, что уход связан с политическим давлением, но Фабер остановил его.

— Не только. Я устал. Мне предлагают курсы, переподготовку, политические занятия, общественную работу, отчёты. Всё можно пройти. Но мне надоело доказывать, что в пятьдесят восемь я достаточно молодой немец.

— Это не возраст для пенсии.

— Я хочу уйти до того, как начну всерьёз бояться собственных уроков.

Последний урок Фабера состоялся летом. Он не хотел официального прощания, но ученики принесли цветы и том Гёте, на форзаце которого расписался весь класс. Фабер снял очки, прочитал несколько имён и объявил, что ничего не видит. Анна Бергер плакала. Руди пожал ему руку.

Наконец старый учитель попросил тишины.

— Я не оставлю вам цитату, правило грамматики или политический совет. Только одно наблюдение: когда вам говорят, что какую-то мысль слишком опасно обсуждать, сначала спросите, почему человек так боится самого обсуждения.

Пауль почувствовал напряжение.

Фабер сразу сменил тон:

— А теперь идите. На улице лето.

Когда класс опустел, Пауль спросил:

— Это было осторожно?

— Нет.

— Тогда зачем?

Фабер пожал плечами.

— Последний урок.

— Вас могут...

Он остановился.

Фабер посмотрел на него.

— Уволить?

Оба рассмеялись.

В августе Пауль получил собственный ключ от кабинета. Старый смотритель Хольц вручил его почти торжественно.

— Не потеряй.

— Мне двадцать шесть.

— Именно поэтому.

В классе стояли тридцать парт, доска, карта и книжный шкаф. Пауль сел за учительский стол и провёл ладонью по дереву. Когда-то он сидел здесь учеником. Теперь кабинет действительно был его.

Брандт вошёл без стука.

— Поздравляю.

— Спасибо.

Он оглядел полки.

— Фабер оставил много старого.

— Книги?

— Не только. Привычки.

— Какие?

— Увидим.

Брандт подошёл к последней парте.

— Раньше за вами сидел наставник. Теперь вы сами отвечаете за то, чему и как учите.

— Именно этого я и хотел.

— Хорошо. В новом учебном периоде будут дополнительные методические указания.

— Опять списки?

Брандт усмехнулся.

— Вы слишком привязаны к этому слову.

После его ухода Пауль посмотрел на последнюю парту. Свобода оказалась странной: никто больше не скажет, что он слишком быстро объясняет или задаёт неправильный вопрос. И никто из тех, кому он доверяет, не будет сидеть сзади и видеть урок целиком.

К этому времени Грета всё чаще помогала Лотте с младшими участницами Bund Deutscher Mädel — BDM (Союза немецких девушек). Ей нравилось, что девочки слушаются, что ей поручают построение, игру, песню, проверку снаряжения перед походом. Впервые другие смотрели на неё почти так же, как она сама когда-то смотрела на Лотту.

Однажды Марта заметила:

— Ты теперь их учишь?

— Немного.

Пауль поднял голову.

— Чему?

— Всему понемногу. Песням, порядку, дисциплине.

— Политике?

— Не начинай.

Он улыбнулся и промолчал.

На следующий день Грета зашла к Леви. В мастерской стало заметно пустее: из трёх швей остались Марта и Роза, а Мириам после школы помогала пришивать пуговицы.

— А Эльза?

— Ушла. Работы мало.

— Совсем?

— Да.

Грета позвала Мириам гулять. По дороге к реке подруга спросила:

— Ты теперь младших обучаешь?

— Немного. Мне нравится.

— Хорошо.

Грета услышала знакомую недосказанность.

— Говори.

Мириам вздохнула.

— Вы говорите про евреев?

Грета замедлила шаг.

— Иногда.

— Что?

— Про историю. Народ. Расу.

— Про нас.

— Не про тебя.

Мириам рассмеялась без веселья.

— Каждый раз одно и то же: не про меня, не про папу, не про маму. Тогда про кого?

— Про евреев вообще.

Мириам посмотрела прямо.

— А мы кто?

Все формулировки Лотты — влияние, национальная общность, разделение, сохранение крови — вдруг стали звучать иначе, потому что напротив стояла Мириам.

— Это сложнее, — сказала Грета.

— Твой брат сказал бы, что это не ответ.

— Не приплетай Пауля.

— Он хотя бы говорит, когда не знает.

Грета обиделась и пошла прочь, но через несколько шагов сама вернулась.

— Ненавижу тебя.

Мириам улыбнулась.

— Нет.

Они постояли у воды.

— Я не хочу выбирать, — сказала Грета.

— Я знаю.

— Тогда почему всё заставляет выбирать? Я должна бросить союз?

— Я никогда этого не просила.

— Тогда что?

— Ничего. Только когда рассказываешь младшим девочкам про евреев, вспомни, что потом одна из них может посмотреть на меня.

— Я не говорю, что евреи чужие.

— Может, пока нет.

Обе слышали слово и невольно улыбнулись. От этого стало только тяжелее.

В конце августа Пауль готовил кабинет к новому учебному периоду. На столе лежала папка методических документов: литература, школьные церемонии, политико-воспитательная работа. Штольц заглянул в класс.

— Читаешь?

— Пытаюсь.

— Я иногда просто подписываю, что ознакомлен.

— Не читая?

— Шучу. Хотя читать порой опаснее.

Он сел.

— Хочешь совет? Не пытайся каждый день решать судьбу Германии. Проводи урок, получай зарплату, не вступай в партию, если не хочешь, никого не сдавай, не говори глупостей — и живи.

— Вот так просто?

— Да.

— А если однажды этого окажется мало?

Штольц посмотрел на него.

— Тогда будем думать.

Первого учебного дня класс встретил Пауля стоя. На последней парте никого не было. Руди сидел почти на старом месте, Анна — у окна.

— Как вы знаете, с этого года я ваш постоянный преподаватель немецкого языка и литературы.

Руди поднял руку.

— Значит, теперь за нами никто не будет следить?

— За вами буду я.

— А за вами?

Класс засмеялся.

Пауль посмотрел на пустую последнюю парту.

— А за мной, надеюсь, совесть.

— Это хуже доктора Фабера?

— Иногда значительно.

Пауль повернулся к доске и написал:

Verantwortung. (*Ответственность.* — нем.)

— Кто объяснит?

Руди поднял руку.

— Когда отвечаешь за то, что сделал.

— Хорошо. Но иногда человек отвечает и за то, чего не сделал.

Он сам услышал собственную фразу и на секунду остановился.

В кармане лежал членский билет *Nationalsozialistischer Lehrerbund* — NSLB (Национал-социалистического союза учителей). На столе — государственные методические указания. Перед ним — дети.

Пауль Винтер наконец стал тем, кем хотел быть несколько лет: настоящим учителем. Теперь ему предстояло понять, возможно ли остаться им в школе, где государство всё настойчивее стремилось определять не только учебную программу, но и границы допустимого вопроса.

ЧАСТЬ II ПРАВИЛЬНЫЕ НЕМЦЫ

Глава 10. После Гинденбурга

К началу нового учебного года в школе уже висел другой портрет. Сменили его ещё в начале августа 1934 года, сразу после смерти Гинденбурга. Старый несколько дней стоял в учительской у стены, прислонённый к шкафу. Пауль заметил его утром, когда пришёл раньше остальных. Гинденбург смотрел с фотографии тяжёлым, усталым взглядом. Рядом лежал новый портрет, ещё не повешенный. Пауль остановился.

— Быстро, — сказал за спиной Брандт.

— Что?

— Всё меняется быстро.

Пауль обернулся. Брандт поставил портфель на стол и кивнул на портрет.

— Второго августа умер президент. Сегодня уже другое государство.

— Юридически это произошло ещё первого, — сказал Пауль.

Брандт усмехнулся.

— Конечно. Вы уже прочитали закон.

— Было любопытно.

Закон о главе государства был подготовлен накануне смерти Гинденбурга. После его смерти должности рейхспрезидента и рейхсканцлера объединялись. Полномочия президента переходили к Гитлеру. Пауль перечитал текст вечером несколько раз. Больше всего его тревожила не длина документа. Наоборот — краткость. Несколько строк могли закрыть целую государственную должность.

— Теперь он фюрер и рейхсканцлер, — сказал Брандт.

— Я слышал.

— По радио это трудно было не услышать.

Пауль посмотрел на новый портрет.

— Повесите сами?

— Для этого есть Хольц.

Хольц как раз вошёл с молотком.

— Доброе утро.

— Вас уже повысили до хранителя государственных символов, — сказал Пауль.

Старый смотритель фыркнул.

— Мне всё равно, кто на фотографии. Лишь бы гвоздь держался.

Брандт засмеялся. Пауль тоже. Потом Хольц снял портрет Гинденбурга и повесил новый. Никакой музыки. Никакой речи. Два гвоздя оказались на одинаковом расстоянии, поэтому даже отверстие в стене осталось прежним. Пауль почему-то запомнил именно это.

Эрнст воспринял смерть Гинденбурга иначе. Вечером он долго читал газету.

— Старый был солдатом, — сказал наконец.

Марта шила у окна.

— И?

— Ничего.

— Ты его любил?

— Нет.

— Тогда почему лицо такое?

Эрнст отложил газету.

— Потому что президент — это президент.

Грета, сидевшая за столом, подняла голову.

— Теперь должности объединены.

— Я умею читать.

— Я просто сказала.

— Вот и я просто.

Пауль спросил:

— Тебя это беспокоит?

Отец помолчал.

— Не знаю.

— Опять, — сказала Марта.

— Что?

— У нас половина политики держится на этом слове.

Эрнст не улыбнулся.

— В четырнадцатом я присягал государству, — сказал он.

Пауль посмотрел. Отец редко говорил о войне без необходимости.

— Не человеку?

— Императору тоже. Но это было...

Он искал слово.

— Иначе.

Грета спросила:

— Почему?

— Потому что человек может умереть.

— Гинденбург тоже умер.

— Вот именно.

Она не поняла. Эрнст пояснять не стал.

Через несколько дней Пауль понял, о чём говорил отец. После смерти Гинденбурга германские вооружённые силы приняли новую присягу. Не конституции. Не государству в абстрактном смысле. Лично Адольфу Гитлеру. Формула попала в газеты. Пауль читал за завтраком. Эрнст попросил:

— Дай.

Пауль передал. Отец прочитал молча. Потом вернул.

— Ну?

— Что?

— Ты же хотел сказать.

Эрнст помолчал.

— **unbedingten Gehorsam** (безусловное повиновение. — нем.).

Он произнёс немецкие слова медленно, словно пробовал их на вес.

— Безусловное.

Грета сказала:

— Солдат должен подчиняться.

— Конечно.

— Тогда?

Эрнст посмотрел на дочь.

— На войне приказ выполняют.

Пауза.

— Почти.

— Что значит «почти»?

— То и значит.

— Как можно почти выполнить приказ?

Эрнст взял чашку.

— Иногда всё можно.

Грета перевела взгляд на Пауля.

— Ты понимаешь?

— Думаю.

— Объясни.

Пауль покачал головой.

— Нет. Пусть отец сам.

Эрнст раздражённо сказал:

— Ничего я не собирался объяснять.

Марта усмехнулась.

— Очень педагогичная семья.

Девятнадцатого августа состоялся плебисцит. Избирателям предлагалось одобрить объединение полномочий президента и канцлера в руках Гитлера. На участке была очередь. Не огромная. Обычная воскресная очередь людей, которые узнавали соседей, здоровались и делали вид, что не интересуются чужим выбором. Эрнст и Марта пошли вместе. Пауль — чуть позже. Грета голосовать ещё не могла. Она ждала дома и вечером спросила у всех троих:

— Ну?

— Что «ну»? — ответил Эрнст.

— Вы проголосовали?

— Да.

— Как?

Отец посмотрел.

— Тайна голосования существует именно затем, чтобы дочь не устраивала допрос.

— Я не устраиваю.

— Уже.

Она повернулась к Паулю.

— А ты?

— Отец только что объяснил принцип.

— Вы невозможные.

Официальный результат пришёл быстро: почти девяносто процентов голосов — за. Грета была впечатлена.

— Значит, люди хотят.

Пауль читал цифры.

— Большинство — да.

— Какое ещё большинство? Почти все.

- Около четырёх с половиной миллионов проголосовали против.
- Но девяносто процентов за.
- Одно не отменяет другого.

Грета вздохнула.

- Ты всегда находишь маленькую цифру внутри большой.
- Иногда маленькая цифра — это несколько миллионов человек.

Эрнст кивнул.

- Вот тут он прав.

Грета посмотрела на отца.

- Вы оба просто не умеете радоваться.
- Умею, — сказал Эрнст. — Когда есть чему.

К осени приветствие изменилось окончательно. Рука поднималась всё чаще. Сначала на собраниях. Потом при входе директора. Потом в коридорах. Некоторые ученики делали это с удовольствием. Другие механически. Самые младшие превращали жест в игру, пока учителя не одёргивали. Пауль долго ограничивался коротким кивком, если мог. Потом однажды Брандт остановил его в коридоре.

- Винтер.
- Что?
- Вы опять.
- Что опять?

Брандт поднял руку в партийном приветствии.

- Это.
- Я вас вижу.
- Не смешно.
- Немного.

Брандт понизил голос.

- Не создавайте проблему из пустяка.
- Если пустяк, почему вам важно?

Тот помолчал.

- Потому что это установленная форма приветствия.
- И?
- И ничего. Используйте.

Пауль смотрел. В конце концов поднял руку. Коротко. Без слов. Брандт кивнул.

- Вот. Было трудно?
- Нет.
- Тогда зачем столько месяцев?

Пауль не ответил. Именно то, что оказалось не трудно, тревожило больше всего. Вечером он рассказал матери. Марта не оторвалась от шитья.

- И что?
- Ничего.
- Все сегодня любят это слово.
- Мне не понравилось.
- Сам жест?
- То, как легко.

Марта посмотрела.

- Пауль.
- Что?
- Опасно не только делать то, что считаешь неправильным.
- Она снова опустила глаза к ткани.

— Иногда ещё опаснее делать это долго, пока не перестанешь замечать.

Пауль запомнил.

Грета в это время всё глубже входила в жизнь Bund Deutscher Mädel — BDM (Союза немецких девушек). Ей нравилось, что там всегда было дело. Поход. Спортивное занятие. Помощь младшим. Песни. Сбор вещей. Подготовка праздника. Она возвращалась уставшая и довольная. Мириам всё реже спрашивала подробности. Однажды они сидели у реки. Грета рассказывала о походе.

— Лотта говорит, следующей весной мне можно будет помогать с младшей группой.

— Хорошо.

— Тебе неинтересно.

— Интересно.

— Нет.

Мириам бросила камешек в воду.

— Просто я не могу туда прийти.

— Я знаю.

— Вот.

Грета замолчала.

— Но мы же можем быть здесь.

— Пока.

Слово неприятно задело.

— Почему ты всё время так?

— Как?

— Будто обязательно станет хуже.

Мириам посмотрела.

— Потому что пока становилось.

Грета хотела возразить. Не нашла чем.

— У нас дома всё нормально.

— Хорошо.

— И папа снова работает почти полную неделю.

— Хорошо.

— В городе меньше безработных.

— Я знаю.

— Значит, не всё хуже.

Мириам кивнула.

— Не всё.

Это было честно. И поэтому спор закончился.

Эрнст действительно работал больше. Заказы на заводе выросли. Смен стало больше. Некоторых уволенных вернули. Домой он приходил уставший, иногда ругался на мастера, но деньги снова стали предсказуемые. Это нельзя было отрицать. Однажды Пауль спросил:

— Значит, ты теперь доволен?

Отец снял ботинки.

— Чем?

— Работой.

— Да.

— Государством?

Эрнст посмотрел.

— Ты в школе так же вопросы задаёшь?

— Иногда.

— Бедные дети.

Пауль улыбнулся. Отец стал серьезнее.

— Я не собираюсь врать. Люди работают больше. Это хорошо.

— А остальное?

— Остальное не становится хорошим только потому, что у меня появилась смена.

— И наоборот?

Эрнст кивнул.

— И наоборот.

Он взял со стола старый военный жетон. Иногда держал его в ящике среди инструментов.

— Вот ты всё спрашиваешь про приказы.

— Я не спрашивал сегодня.

— Всё равно.

Эрнст провёл пальцем по металлу.

— На войне приказ нужен. Иначе армия развалится.

— Да.

— Но если человека заставляют присягать не стране, а другому человеку...

Он замолчал.

— Что?

— Не нравится мне это.

— Почему?

Отец пожал плечами.

— Страна остаётся, когда человек умирает.

Пауль вспомнил их августовский разговор.

— А если человек считает себя страной?

Эрнст усмехнулся.

— Тогда тем более.

В октябре Пауль снова увидел портрет Гинденбурга. Холщ не выбросил. Он лежал в кладовой за стопкой старых учебных таблиц.

— Зачем храните? — спросил Пауль.

— Хорошая рамка.

— А фотография?

— Можно вынуть.

Пауль засмеялся. Холщ посмотрел на новый портрет в коридоре.

— Люди меняются. Рамки дороже.

Сказал совершенно серьёзно. Пауль не понял, была ли это шутка. В последнее время многие фразы становились такими.

Однажды на уроке Руди Штамм спросил:

— Господин Винтер, свобода — это делать что хочешь?

— Нет.

— А что?

Пауль задумался.

— Возможность отвечать за собственный выбор.

Руди нахмурился.

— Тогда дисциплина тоже свобода?

— Иногда.

— А приказ?

Класс засмеялся. Пауль почувствовал почти суеверное раздражение. В последние месяцы приказ преследовал его даже в классе.

— Приказ — это приказ.

— Очень содержательно, — сказала Анна Бергер.

Теперь засмеялись сильнее. Пауль улыбнулся.

— Хорошо. Приказ может быть законным, разумным, необходимым.

— А может быть неправильным? — спросила Анна.

Брандта в классе не было. Инспектора тоже. Пауль мог ответить.

— Может.

— Тогда надо выполнять?

Тишина. Он вспомнил отца.

— На этот вопрос нет удобного ответа.

Руди сказал:

— Солдат должен.

Пауль посмотрел.

— Возможно.

Потом добавил:

— Но слово «безусловно» всегда стоит читать особенно внимательно.

Вечером Пауль записал в тетради одну фразу:

Freiheit braucht ein Fast. (Свободe иногда нужно слово «почти». — нем.)

Прочитал. Показалось слишком красиво. Зачеркнул. Оставил просто:

Почти.

Отец сказал: на войне приказ выполняют. Почти. Грета сказала: дружбу и политику можно не смешивать. Пока. Пауль всё чаще думал, что иногда вся свобода человека действительно помещается в маленьком слове, которое не даёт утверждению стать абсолютным. Пока это слово ещё можно было произносить.

Глава 11. Новая школа

Осенью 1934 года школа внешне почти не изменилась. Тот же двор. Те же лестницы. Тот же запах мела, мокрых пальто и чернил. Холщ по-прежнему ругался на учеников, которые хлопали дверями. Бремер каждое утро проходил по коридору с папкой под мышкой. Учителя жаловались на программы и отопление. И всё-таки Пауль чувствовал: школа становилась другой. Не за один день. Не новым приказом на стене. Скорее менялось то, что теперь считалось естественным.

На окружной конференции учителей впервые так много говорили о расе и наследственности. Не только учителя биологии. Все. Докладчик из нового Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (Имперского министерства науки, воспитания и народного образования) говорил о единстве воспитательной задачи.

— Немецкий ребёнок не должен получать разные мировоззренческие ответы на уроках истории, литературы и биологии.

Пауль записал фразу. Брандт, сидевший рядом, заметил.

— Нравится?

— Хочу запомнить.

— Это почти одно и то же.

— Нет.

Доклад продолжался. Наследственность. Расовая гигиена. Народное сообщество. Долг учителя формировать не просто знания, а тип немецкого человека. Пауль слушал. Некоторые мысли сами по себе звучали почти бесспорно. Школа действительно воспитывает. Учитель действительно влияет не только на знания. Дети действительно принадлежат обществу, а не существуют вне него. Опасность начиналась в следующем шаге — когда кто-то заранее определял единственный допустимый результат воспитания.

После конференции Брандт сказал:

— Опять недовольны.

— Почему вы так решили?

- У вас лицо.
- Оно врождённое.
- Наследственное?
- Пауль рассмеялся.
- Осторожнее. Теперь это научный термин.
- Они шли к станции. Брандт стал серьезнее.
- На самом деле что вам не нравится?
- Требование единого ответа.
- У государства должны быть общие ценности.
- Конечно.
- Тогда?
- Общая ценность и обязательная мысль — не одно и то же.
- Для вас всё не одно и то же.
- Поэтому у языка так много слов.
- Брандт вздохнул.
- Вы когда-нибудь устанете?
- Надеюсь, нет.

Грета тем временем получила своих первых младших девочек. Не собственную группу. Пока только помощь Лотте. Она проверяла, чтобы никто не отставал в походе, помогала завязывать бинты на занятиях первой помощи, следила за порядком. Ей нравилось. Особенно нравилось, когда к ней обращались:

- Грета, можно?
- Грета, а как?
- Грета, она опять...
- Впервые кто-то младше воспринимал её как взрослую. Лотта заметила.
- Не слишком наслаждайся властью.
- Грета рассмеялась.
- Какой властью?
- Скажи десятилетней девочке построиться — и увидишь.
- Они меня не слушаются.
- Значит, пока безопасно.

Грета улыбнулась. На одном занятии младшая девочка расплакалась. Потеряла шерстяную перчатку и боялась идти домой.

- Почему?
- Мама ругаться будет.
- Грета помогла искать. Нашли возле забора. Девочка вытерла слёзы.
- Спасибо.
- Грета ответила:
- Если человек с нами, мы за него отвечаем.
- Фраза понравилась ей самой. Лотта услышала. После занятия сказала:
- Хорошо.
- Что?
- Про ответственность.
- Грета улыбнулась. Лотта добавила:
- Только сначала всегда нужно знать, кто — «мы».
- Грета не поняла, почему последняя фраза прозвучала неприятно.
- Мириам тоже услышала о младшей группе.
- Теперь ты воспитываешь новое поколение?
- Не издевайся.

— Я серьёзно.

— Просто помогаю.

— Хорошо.

Они шли от школы. Грета сказала:

— Ты опять так говоришь.

— Как?

— «Хорошо».

— А что сказать?

— Что тебе интересно.

Мириам остановилась.

— Мне интересно.

— Не похоже.

— Потому что я знаю, что если бы пришла туда с тобой, меня бы не приняли.

Грета вспыхнула.

— Я это не решаю.

— Знаю.

— Тогда зачем каждый раз?

Мириам посмотрела.

— Потому что ты всё время рассказываешь мне про место, где тебе хорошо, а я должна делать вид, что не замечаю: мне там места нет.

Грета замолчала.

— Я не специально.

— Знаю.

Опять слово. На этот раз Грета не стала спорить.

В классе Пауль заметил новое быстрее, чем в программах. Ученики учились давать правильные формулировки. Руди написал в сочинении: «Свобода немецкого человека состоит в добровольном подчинении интересам народного сообщества». Пауль перечитал. Фраза была грамотно построена. Даже красива. На полях он написал:

Всегда ?

На следующем уроке Руди подошёл.

— Что это значит?

— Вопрос.

— Я вижу.

— Тогда всё хорошо.

— Но ответ неправильный?

— Я этого не написал.

— Тогда зачем?

Пауль посмотрел.

— Потому что слова «всегда», «никогда», «безусловно» полезно проверять.

Руди нахмурился.

— Но народное сообщество выше отдельного человека.

— Ты так думаешь?

— Да.

— Хорошо.

— Тогда почему вопрос?

— Потому что думать — не то же самое, что повторить фразу.

Руди ушёл недовольный.

Брандт увидел пометку случайно.

— Вы серьёзно?

— Что?

— «Всегда?»

— Очень опасное слово.

— Вы ребёнка учите сомневаться в основе государства.

— Я учу его объяснять собственную мысль.

— Винтер.

— Что?

— Однажды эти вопросы будут стоить вам работы.

Пауль посмотрел.

— Это предупреждение?

Брандт раздражённо ответил:

— Совет.

— Почему вы даёте советы человеку, который вас раздражает?

Тот помолчал.

— Потому что вы хороший учитель.

И ушёл.

Дома Пауль рассказал отцу. Эрнст выслушал.

— Брандт прав.

— Спасибо.

— Я не про смысл.

— А про что?

— Про работу.

Эрнст положил ложку.

— Ты всё время ведёшь себя так, будто если тебя уволят за правильную мысль, семья должна гордиться и не есть.

Пауль вспыхнул.

— Я этого не говорил.

— Но думаешь.

Марта вмешалась:

— Он не думает.

Эрнст посмотрел.

— Тогда хорошо.

Пауль сказал:

— Я осторожен.

— Будь ещё осторожнее.

— Насколько?

— Настолько, чтобы продолжать работать.

Марта тихо сказала:

— И настолько, чтобы потом помнить, почему молчал.

Оба мужчины посмотрели.

— Что? — спросил Эрнст.

— Ничего.

Она продолжила есть.

В мастерской Леви стало холоднее. Не из-за зимы. Самуэль экономил уголь. Марта сидела в пальто первые полчаса, пока помещение хоть немного прогрелось. Заказов было меньше. Однажды Самуэль положил перед ней конверт.

— Что это?

— Деньги.

— Вижу.

— Последние за неделю.
Марта подняла голову.
— И?
— Если найдёшь место получше, иди.
Она не сразу поняла.
— Ты меня увольняешь?
— Нет.
— Тогда?
— Освобождаю от обязательства быть порядочным человеком.
Марта сердито отодвинула конверт.
— Иди к чёрту.
Самуэль улыбнулся.
— Значит, остаёшься?
— Конечно.
— Очень неразумно.
— Семнадцать лет терпела тебя. Поздно исправляться.

Роза, услышав, засмеялась. Самуэль тоже. Но вечером Марта принесла домой меньше денег, чем раньше. Эрнст увидел. Не сказал ничего.

Весной Пауль проводил урок о понятии врага в литературе. Не политике. Именно литературе. По крайней мере так было записано в плане.

— Зачем автору враг? — спросил он.

Анна ответила:

— Чтобы герою было с кем бороться.

— Всегда?

Она улыбнулась.

— Вы опять.

Класс засмеялся.

— Хорошо. Не всегда.

Фридрих Келлер сказал:

— Иногда герой сам решает, что кто-то враг.

— Почему?

— Потому что ему так проще.

Пауль заинтересовался.

— Объясни.

— Если человек враг, не надо думать, прав ли он.

Класс замолчал. Руди возразил:

— Но настоящие враги существуют.

— Конечно.

— Тогда какой смысл?

Пауль сказал:

— Вопрос не в том, существуют ли враги.

Он взял мел. Написал на доске:

Wer bestimmt das? (Кто это определяет ? — нем.)

— Вопрос в том, кто и почему определяет человека как врага.

Звонок прозвенел раньше, чем спор закончился. Ученики вышли. Пауль собирал книги.

Брандт стоял у двери.

— Опять?

— Вы сегодня всё слышите.

— Я шёл мимо.

Он посмотрел на доску.

— Сотрите.

— Почему?

— Просто.

— Хороший аргумент.

Брандт взял тряпку сам. Стер вопрос.

— Не заставляйте меня каждый раз быть человеком, который это делает.

Пауль посмотрел.

— Тогда не делайте.

Брандт ничего не ответил. Ушёл. На доске осталось белое пятно. Вопрос исчез. Не ответ.

Глава 12. Не задавай лишних вопросов

К весне 1935 года Пауль научился исправлять вопрос ещё до того, как произносил его. Это происходило быстро. Иногда он даже не замечал. В голове возникало:

Может ли закон быть несправедливым ?

Вслух получалось:

— Как автор показывает конфликт между личным убеждением и общественной нормой?

Смысл оставался рядом. Достаточно близко, чтобы Пауль мог вечером убедить себя: он ничего не предал. Достаточно далеко, чтобы Брандт не подошёл после урока.

Анна Бергер заметила первой. После урока она задержалась.

— Господин Винтер.

— Да?

— Можно спросить?

— Опасная привычка.

Она улыбнулась.

— Вы боитесь?

Пауль перестал складывать книги.

— Чего?

— Вопросов.

Он посмотрел.

— Почему ты решила?

— Раньше вы спрашивали иначе.

— Ты ведёшь статистику?

— Нет.

— Тогда?

Она пожала плечами.

— Просто слышно.

Пауль почувствовал раздражение. Не на Анну. На точность.

— Учитель иногда меняет методику.

— Хорошо.

Она пошла. У двери остановилась.

— А иногда потому, что ему сказали не спрашивать?

— Анна.

— Всё. Ухожу.

Она вышла. Пауль остался. И понял, что шестнадцатилетняя ученица увидела то, что он несколько месяцев называл профессиональной осторожностью.

Через несколько дней Бремер вызвал его вместе с Брандтом. Директор выглядел уставшим.

— Садитесь.

Пауль посмотрел на Брандта.

— Я уже боюсь.

— Правильно, — сказал тот.

Бремер раздражённо:

— Не начинайте оба.

На столе лежала бумага.

— Поступило замечание о характере ваших уроков.

Пауль сразу понял.

— От кого?

— Неважно.

— Для меня важно.

— Не сегодня.

Брандт вмешался:

— Речь не о доносе.

— Тогда почему вы здесь?

— Потому что я заведу историю-общественным блоком мероприятий и меня спросили о вас.

— Очень успокаивает.

Бремер поднял руку.

— Хватит.

Он посмотрел на Пауля.

— Вам ставят в вину не конкретное высказывание.

— Уже интересно.

— А систематическое использование политически широких моральных вопросов.

Пауль почти рассмеялся.

— Что это значит?

Брандт ответил:

— Что вы заставляете детей обсуждать, должен ли человек подчиняться большинству, государству, закону, приказу.

— Литература полна таких сюжетов.

— Я знаю.

— Тогда?

Брандт помолчал.

— Вы учите сомнению раньше, чем у них появляется основа.

— А если основа гнилая?

Тишина. Бремер закрыл глаза.

— Вот поэтому мы здесь.

Пауль понял, что сказал. Брандт смотрел.

— Вы всё время не можете остановиться на полшага раньше.

— Видимо.

Бремер заговорил тише:

— Пауль, иногда мало знать, что вы правы.

— А что ещё?

— Надо знать, кому и когда вы правы.

Дома Эрнст отреагировал жёстче директора.

— Ты совсем идиот?

— Спасибо.

— Я серьёзно.

— И я.

— «Если основа гнилая»?

Пауль посмотрел на мать.

— Ты уже рассказал?

Марта пожала плечами.

— Ты пришёл с таким лицом, что пришлось.

Эрнст продолжил:

— У тебя работа. Нормальная работа. Зарплата. Семья наконец не считает каждую монету, как три года назад.

— Я знаю.

— Тогда води себя соответственно.

— Как?

— Не играй героя.

Пауль вспыхнул.

— Я не играю.

— Вот и не начинай.

Марта тихо сказала:

— Эрнст прав в одном.

Оба посмотрели.

— Если тебя уволят, последствия будешь нести не только ты.

Пауль сжал губы.

— Я понимаю.

— Хорошо.

Она выдержала паузу.

— Но если решишь молчать, не называй потом это отсутствием выбора. Это тоже будет выбор.

Эрнст раздражённо:

— Марта.

— Что?

— Я пытаюсь заставить сына быть разумным.

— А я не мешаю.

— Очень мешаешь.

Грета тоже училась ответственности. Ханна, одна из младших девочек, пришла на занятие заплаканная.

— Что случилось?

— Ничего.

— В нашей семье это слово уже занято.

Девочка не поняла.

— Мама не хотела отпускать.

— Почему?

— Надо сидеть с братом.

— Он болеет?

— Нет. Она на работу.

Грета задумалась. Лотта учила: если ребёнку систематически мешают участвовать, руководительница должна узнать причину.

— Часто?

— Иногда.

— И что ты сказала маме?

Ханна вытерла лицо.

— Что мне надо.

— А она?

— Что семье тоже надо.

Грета понимала обеих. Это раздражало. Было проще, когда одна сторона очевидно права.

После занятия она спросила Лотту:

— Если дома нужна помощь, что важнее?

— Смотря что.

— Мать оставляет девочку с младшим братом, потому что работает.

— Часто?

— Не знаю.

— Узнай.

— Зачем?

— Потому что мы отвечаем за младших.

Грета вспомнила собственную фразу.

— И что потом?

— Если обычная семейная необходимость — ничего. Если родители принципиально препятствуют — другое.

— Какое другое?

Лотта посмотрела.

— Грета, ты хочешь получить правило на любую жизнь.

— Удобно было бы.

Лотта улыбнулась.

— Не бывает.

Грета удивилась.

— Ты обычно говоришь увереннее.

— Потому что обычно ты задаёшь вопросы проще.

В мастерской Леви убрали фамилию с вывески. Не окончательно. Большую старую вывеску сняли, а вместо неё повесили маленькую:

Schneiderei. (Портновская мастерская. — нем.)

Марта стояла на улице и смотрела.

— Зачем?

Самуэль находился рядом.

— Чтобы люди могли притвориться, что не знают, куда вошли.

— Глупость.

— Конечно.

— Поможет?

— Не знаю.

— Уже и ты.

Он улыбнулся.

— Доход за июнь важнее философии.

Марта посмотрела на старую вывеску, лежавшую внутри.

— Ты вернёшь?

— Когда?

— Потом.

Самуэль усмехнулся.

— Очень точная дата.

Пауль стал осторожнее. Это было заметно даже ему. Перед вопросом иногда появлялась пауза. Не театральная. Короткая внутренняя проверка:

Можно ?

Однажды Фридрих Келлер поднял руку:

— Почему герой не говорит то, что думает?

Пауль ответил:

— Боится последствий.

— Значит, трус?

— Не обязательно.

— А как понять?

Пауль хотел сказать:

по тому, говорит ли он тогда, когда может.

Вспомнил Бремера.

— По контексту.

Фридрих нахмурился.

— Какой скучный ответ.

Класс засмеялся. Пауль тоже. Потому что ученик был прав.

Летом Грета получила небольшую тетрадь для методических записей. Лотта диктовала темы: здоровье; семья; наследственность; расовая ответственность; долг девушки перед будущей семьёй; народное сообщество. Грета записывала. Вечером Пауль увидел.

— Можно?

— Нет.

— Тогда зачем оставила на кухне?

— Чтобы ты мучился.

Он взял.

— «Наследственное здоровье».

— Да.

— «Ответственность перед будущими поколениями».

— Что не так?

— Ничего автоматически.

Грета выхватила тетрадь.

— Ты не можешь хоть раз признать, что не всё, что говорит государство, ложь?

Пауль посмотрел.

— Конечно, не всё.

Она растерялась.

— Тогда?

— Именно поэтому надо понимать слова, прежде чем передавать их младшим.

— Я понимаю.

— Хорошо.

Грета помолчала.

— А ты?

— Что я?

— Ты сам всегда понимаешь, почему молчишь?

Пауль замер. Она сразу пожалела. Но не извинилась.

В конце учебного года ему принесли новую инструкцию для подписи. Ознакомлен. Обязуется учитывать воспитательные задачи. Подпись. Пауль прочитал. Ничего явно незаконного. Никакой фразы, против которой можно было бы встать и сказать: нет. Он подписал. Раньше, возможно, задал бы вопрос. Сегодня — нет. Вернулся в класс. Вечером открыл собственную тетрадь. Долго смотрел на чистую страницу. Написал:

Frage. (Вопрос. — нем.)

Под ним:

Хороший вопрос — это тот, который помогает понять, или тот, который человек решается задать ?

Подумал. Добавил:

А что происходит, когда учитель сам заранее убирает половину вопросов ?

Закрыв тетрадь. Ответа не было. Но пока он хотя бы замечал, что не спросил. Это казалось малым. И всё чаще — необходимым.

Глава 13. Две подруги

Летом 1935 года Грета и Мириам договорились не говорить о политике. Никаких законов. Никаких организаций. Никакой расы. Никаких вопросов, которые обязательно превращают прогулку в спор. Первую неделю правило работало прекрасно. Они снова ходили к реке. Менялись книгами. Смеялись над учителями. Обсуждали платье Лизы Хофман, которое Грета считала ужасным, а Мириам — просто слишком взрослым. На несколько дней обе почти поверили, что можно вернуться назад.

Однажды Мириам принесла роман.

— Только не испорть.

— Я когда-нибудь портила?

— Да.

— Что?

— Мою книгу стихов.

— Там упала капля воды.

— Чая.

— Вода была в чае.

— Великолепная защита.

Грета засмеялась. Они сидели в траве. Совсем как в четырнадцать. Потом мимо прошли три девушки в форме BDM. Поздоровались с Гретой. На Мириам почти не посмотрели. Одна сказала:

— В воскресенье поход, не забудь.

— Не забуду.

Они ушли. Мириам листала книгу. Молчание стало другим.

— Мы договорились, — быстро сказала Грета.

— Я ничего.

— Вот именно.

Мириам посмотрела.

— Ты хочешь, чтобы я ещё и молчала правильно?

— Не начинай.

— Не начинаю.

Она снова открыла книгу. Правило продержалось девять дней.

На воскресном походе Лиза спросила:

— Ты будешь праздновать день рождения?

— Конечно.

— Кого позовёшь?

Грета начала перечислять. Лиза перебила:

— Мириам тоже?

— Конечно.

Пауза.

— Что?

— Ничего.

— Лиза.

— Я просто спрашиваю.

— Нет.

Лиза вздохнула.

— Если будет Мириам, некоторые девочки могут не прийти.

Грета остановилась.

— Почему?

— Ты знаешь.

— Нет.

— Грета.

— Назови.

Лиза понизила голос.

— Потому что она еврейка.

Несколько лет назад фраза прозвучала бы как обычное описание. Теперь — как причина.

Грета почувствовала злость.

— И?

— Ничего. Я предупредила.

— Пусть не приходят.

— Хорошо.

Лиза пошла дальше. Грета догнала.

— А ты?

— Что я?

— Придешь?

Лиза помолчала.

— Не знаю.

Грета рассказала Лотте. Ожидала поддержки. Лотта выслушала спокойно.

— Это твой день рождения.

— Значит, можно приглашать кого хочу.

— Я не запрещаю.

— Но?

Лотта чуть улыбнулась.

— Ты сама уже ждешь «но».

— Потому что оно будет.

— Личное и общее — не всегда одно.

Грета нахмурилась.

— Опять.

— Что?

— Ты говоришь так, будто Мириам — личное, а всё остальное настоящее.

— Я этого не сказала.

— Но получается.

Лотта стала серьезнее.

— Ты можешь любить Мириам как человека.

— Спасибо за разрешение.

— Не язви.

— А что дальше?

— Личная симпатия не отменяет происхождения и законов общности.

Грета почувствовала знакомый холод.

— Значит, она хорошая, но...

— Иногда хороший отдельный человек может быть исключением и не отменять общий принцип.

— А если исключений много?

Лотта посмотрела.

— Тогда надо изучать вопрос, а не строить мировоззрение из знакомых.

Ответ звучал разумно. И именно поэтому Грете было трудно его отбросить.

Дома она объявила:

— На день рождения будет два раза.

Марта подняла голову.

— Что два раза?

— Праздник.

— Зачем?

— В субботу девочки. В воскресенье Мириам.

Марта перестала резать хлеб.

— Почему Мириам отдельно?

— Так удобнее.

— Кому?

— Всем.

— Ей?

Грета вспыхнула.

— Мама.

— Я спрашиваю.

— Потому что с ней проблема!

Фраза вылетела. Тишина. Грета сама услышала.

— Я не это...

Марта смотрела.

— Что?

— Я хотела сказать...

— Что с Мириам проблема.

— Нет!

— Тогда с кем?

Грета не ответила. Марта тихо сказала:

— Никто не говорит тебе: ненавидь Мириам.

— Вот!

— Подожди.

Мать вытерла руки.

— Просто вокруг неё постепенно делают жизнь неудобной. И однажды ты сама говоришь:

«С ней проблема».

Грета побледнела.

— Я не считаю её проблемой.

— Хорошо.

— Не говори так!

— Как?

— Будто не веришь.

Марта подошла.

— Я верю.

— Тогда почему...

— Потому что иногда человеку надо услышать собственные слова.

Мириам узнала о двух днях раньше, чем Грета успела объяснить. Лиза проговорилась.

Мириам пришла сама.

— Значит, я в воскресенье?

Грета сразу поняла.

— Послушай...

— Нет. Я просто уточняю.

— Потому что в субботу будут девочки из Союза.

— Я поняла.

— И я не хочу, чтобы было неловко.

— Кому?

— Тебе.

Мириам усмехнулась.

— Конечно.

— Не надо.

— Что?

— Делать вид, будто я хочу тебя спрятать.

— А что ты делаешь?

— Я хочу провести с тобой отдельно день!

— Потому что вместе со мной другим неудобно.

— Не мне!

Мириам посмотрела.

— Но решение принимаешь ты.

Грета замолчала. Мириам тихо сказала:

— Я не хочу быть твоей хорошей еврейской подругой, которую можно любить там, где это никому не мешает.

— Я никогда так...

— Знаю.

— Тогда?

— А получается так.

Грета чувствовала, что сейчас заплачет от злости.

— Что мне делать? Отменить всё?

— Не знаю.

— Прекрасно.

— Ты спросила.

— Я хочу, чтобы всё было как раньше!

Мириам долго смотрела.

— Я тоже.

Вот это лишило Грету злости. Они обе понимали: невозможно.

Два дня рождения всё-таки состоялись. В субботу пришли Лиза, ещё пять девушек, две школьные подруги. Никто не сказал ни одного антисемитского слова. Никто не спросил, почему нет Мириам. Именно это было хуже. Её отсутствие уже не требовало объяснения. В воскресенье пришла Мириам. Принесла маленькую книгу и сладости. Марта испекла пирог. Пауль специально остался дома. Эрнст шутил. Несколько часов было хорошо. Настояще хорошо. И всё равно Грета весь день знала: это второй день. Отдельный.

Для отдельной подруги.

Через неделю она помогала в мастерской переписывать список клиентов. Марта попросила просто помочь с адресами. Грета увидела зачёркнутые фамилии.

— Почему?

Мириам стояла рядом.

— Больше не приходят.

— Все?

— Почти.

Грета листала. Некоторых знала.

— Фогели тоже?

— Да.

— Но фрау Фогель дружила с твоей мамой.

— Наверное, перестала.

— Может, боится.

Мириам посмотрела.

— Это лучше?

— Я не сказала.

— Но подумала.

Грета сердито взяла карандаш.

— Ты теперь всё, что я говорю, превращаешь в обвинение.

— Нет.

Пауза.

— Я верю, что ты не хочешь сделать мне плохо.

Грета посмотрела.

— Тогда?

— Просто я уже не уверена, что этого достаточно.

Эта фраза осталась.

На следующем занятии Лотта говорила о народном сообществе. Грета слушала внимательнее обычного.

— Общее не строится из личных исключений, — сказала Лотта. — Иначе любой закон можно отменить рассказом о знакомом хорошем человеке.

Грета подняла руку.

— А если правило несправедливо к хорошему человеку?

— Какое правило?

— Любое.

— Слишком абстрактно.

— Хорошо. Если человека исключают только из-за того, кем он родился.

В комнате стало тише. Лотта посмотрела.

— Ты опять про Мириам.

— Возможно.

— Грета, хороший индивидуальный человек может быть исключением.

— Но если правило требует не смотреть на человека вообще?

Лотта нахмурилась.

— Ты смешиваешь частное и политическое.

— Я пытаюсь понять.

— Тогда понимай не на примере одной подруги.

Вечером Грета пошла к Паулю.

— Лотта говорит, исключение не отменяет принцип.

— Иногда.

— Опять «иногда».

— Очень полезное слово.

— А когда отменяет?

Пауль подумал.

— Когда исключение показывает, что правило построено на плохом основании.

— Как понять?

— Спроси, что человек сделал.

— В смысле?

— Если его исключают за поступок — можно обсуждать поступок.

Он посмотрел.

— Если только за рождение, стоит спросить, при чём здесь сам человек.

Грета молчала.

— Это про Мириам?

— Нет.

— Конечно.

Она ушла раздражённая. Но вопрос унесла с собой.

В начале сентября 1935 года Грета и Мириам снова сидели у реки. О политике не говорили. Правило восстановили. Мириам читала. Грета лежала в траве.

— День рождения был ужасный, — сказала она.

Мириам посмотрела.

— Какой?

— Оба.

— Мне понравился.

— Врёшь.

— Немного.

Они улыбнулись. Грета спросила:

— Мы всё ещё подруги?

Мириам закрыла книгу.

— Да.

Ответ пришёл без паузы. Грета выдохнула. Мириам добавила:

— Просто теперь это не такая простая вещь.

— Раньше была?

— Нам было четырнадцать.

— Это не ответ.

Мириам улыбнулась.

— Фраза Пауля.

— Ненавижу вас обоих.

Они засмеялись. Через несколько дней в Нюрнберге открылся партийный съезд. Пятнадцатого сентября рейхстаг соберётся на специальное заседание. Ни Грета, ни Мириам ещё не знали, что их дружбе скоро дадут юридические определения, которых они никогда не просили.

Глава 14. Пятнадцатое сентября

В воскресенье 15 сентября 1935 года Винтеры слушали радио всей семьёй. Не потому, что специально собирались. Передавали новости из Нюрнберга, где проходил партийный съезд. Грета пришла после занятия. Эрнст чинил ремень. Марта штопала. Пауль читал. Потом диктор сообщил о специальном заседании рейхстага. Эрнст поднял голову.

— В воскресенье?

— Видимо, срочно, — сказал Пауль.

Сначала говорили о новом государственном флаге. Потом о законах.

Reichsbürgergesetz (Закон о гражданстве рейха. — нем.).

Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (Закон о защите немецкой крови и немецкой чести. — нем.).

Грета слушала внимательно. Марта перестала шить. Эрнст нахмурился. После передачи никто не заговорил сразу. Наконец отец спросил:

— Самуэль теперь гражданин?

Пауль посмотрел в газету, где уже печатали первые формулировки.

— Похоже, полные политические права связывают с «германской или родственной кровью».

— Я спросил проще.

— Закон пока не даёт мне простого ответа.

— Как не даёт?

— Потому что точные определения ещё должны быть установлены.

Эрнст раздражённо сказал:

— Значит, приняли закон и потом будут решать, про кого он.

— Похоже.

Марта тихо произнесла:

— Самуэль родился здесь.

— Знаю.

— Его отец тоже.

— Знаю.

— Он воевал.

Эрнст кивнул.

— Знаю.

Грета сказала:

— Закон не говорит, что он плохой человек.

Все посмотрели. Она сразу почувствовала защиту.

— Я просто...

Марта ответила:

— Нет. Не говорит.

И снова взялась за иглу.

На следующий день в учительской обсуждали громче. Брандт был доволен прежде всего ясностью.

— Наконец определили правовую основу.

Пауль поднял голову.

— Не определили.

— Что?

— Кто именно считается евреем в юридическом смысле, ещё до конца не установлено.

Брандт раздражённо:

— Все понимают, о ком речь.

— Закон не должен работать через «все понимают».

— Вы опять спорите с законом?

— Я спрашиваю, как его применять.

— Не ваша работа.

Пауль посмотрел.

— Когда закон начинает определять права моих учеников, немного моя.

Брандт замолчал. Бремер, сидевший у окна, сказал:

— Прекратите оба.

В классе Руди спросил сам.

— Господин Винтер, евреи теперь не граждане?

Пауль почувствовал, как двадцать семь лиц повернулись.

— Новый закон различает гражданство государства и статус гражданина рейха с полными политическими правами.

Руди нахмурился.

— Значит, да?

— Значит, всё сложнее.

Анна подняла руку.

— Если человек родился в Германии, говорит по-немецки и его родители родились здесь, он немец?

Тишина. Пауль ответил:

— Закон может изменить его права.

— Я не про права.

Он посмотрел.

— Его прошлое от этого не меняется.

Анна не была удовлетворена. Пауль тоже. Он открыл книгу.

— Вернёмся к тексту.

Это было отступление. Он знал.

В мастерской первый клиент после законов пришёл вечером. Мужчина лет пятидесяти. Марта его знала. Он раньше заказывал костюмы.

— Господин Леви здесь?

— Конечно.

Самуэль вышел.

— Добрый вечер.

Клиент говорил тихо.

— Мне нужен пиджак.

— Очень своевременно. Я как раз портной.

Марта улыбнулась. Клиент не поддержал.

— Только...

Он оглянулся на дверь.

— Можно без квитанции?

Самуэль смотрел.

— Почему?

— Просто.

— У нас это слово тоже любят.

Марта резко посмотрела. Клиент покраснел.

— Я заплачу наличными.

Самуэль пожал плечами.

— Хорошо.

После его ухода Марта сказала:

— Надо было выгнать.

— Зачем?

— Ему стыдно, что приходит.

Самуэль сложил деньги.

— Мне не нужна его смелость.

Пауза.

— Мне нужна работа.

Грета пошла к Мириам через два дня. Та уже знала. Конечно. На столе лежала газета.

— Ну? — спросила Грета.

Мириам усмехнулась.

— Что «ну»?

— Как ты?

— Законно.

— Не надо.

— А что сказать?

Грета села.

— Там ещё не всё определено.

Мириам посмотрела.

— Это должно успокоить?

— Я просто говорю.

— Знаю.

Грета уже ненавидела это слово из её уст.

— Всё образуется.

Фраза вылетела автоматически. Мириам замерла. Грета сама услышала.

Всё образуется.

Так говорили после бойкота. После увольнений. После новых анкет. После каждой границы, которую передвигали. Мириам тихо сказала:

— Ты это уже говорила.

— Знаю.

На этот раз слово принадлежало Грете.

На занятии BDM Лотта объясняла новые законы. Без злости. Спокойно.

— Это не законы ненависти. Это законы разграничения.

Грета подняла руку.

— А если закон неправильный?

Комната затихла. Лотта посмотрела.

— В каком смысле?

— Просто.

— Законы не обсуждаются на нашем уровне.

— Но могут быть неправильными?

Лотта выдержала паузу.

— Закон есть закон.

Грета почувствовала раздражение.

— А если завтра его изменят?

— Что?

— Тогда получается, вчера было правильно одно, а сегодня другое?

Лотта стала строже.

— Ты опять превращаешь занятие в философский кружок.

Лиза после сказала:

— Зачем ты?

— Что?

— Всё время споришь.

— Я спросила.

— Из-за Мириам.

— И что?

Лиза пожала плечами.

— Я бы просто перестала дружить.

Грета остановилась.

— Почему?

— Зачем создавать себе проблемы?

Вот она. Фраза матери.

С ней проблема.

Теперь в другом рту. Грета почувствовала отвращение.

— Она не проблема.

Лиза посмотрела.

— Как хочешь.

Осенью в школе появились новые анкеты о происхождении. Родители. Деда. Бабушки. Религия. Места рождения. Пауль раздавал листы классу. Фридрих Келлер долго смотрел.

— Господин Винтер.

— Да?

— А если не знаешь про дедушку?

— Спроси дома.

— А если дома не знают?

— Тогда придётся искать документы.

Фридрих кивнул. Но лицо не изменилось. Пауль заметил. Не спросил при всех.

В ноябре появились долгожданные определения. Теперь бумага раскладывала людей по категориям через происхождение четырёх дедов и бабушек и дополнительные условия. Пауль читал таблицу. Три или четыре еврейских дедушки и бабушки — одна категория. Два — зависит от дополнительных обстоятельств.

Один или два — **Mischling ersten Grades** (лицо смешанного происхождения первой степени. — нем.) либо **Mischling zweiten Grades** (лицо смешанного происхождения второй степени. — нем.).

Человек превращался в арифметику.

В семье Леви собирали бумаги. Грета помогала Мириам искать даты.

— Твоя бабушка?

— Эстер.

— Родилась?

Мириам назвала год.

— Где?

— Здесь.

Грета записала. Через несколько минут спросила:

— Это же просто документы.

Мириам посмотрела.

— Что?

— Ну... они классифицируют.

— Зачем?

— Чтобы знать.

— Что?

Грета замолчала. Мириам продолжила:

— Ты всё время помогаешь мне привыкать.

— Я помогаю заполнить бумаги!

— Я знаю.

— Тогда?

Мириам вздохнула.

— Если мне станет слишком легко, я могу забыть, что это ненормально.

— Что именно?

— Что государство считает моих бабушек важнее меня самой.

Грета молчала. Мириам добавила:

— Я не хочу однажды сказать, что всё было нормально.

За ужином Винтеры обсуждали те же категории. Марта спросила:

— Почему принадлежность к религии дедушки теперь определяет расу внука?

Пауль посмотрел на документ.

— Хороший вопрос.

Грета раздражённо:

— Закон приняли не просто так. Должны быть причины.

— Конечно, — сказал Пауль.

— Тогда почему ты всегда говоришь так, будто человек, который верит государству, уже плохой?

— Я так не говорю.

— Говоришь.

Пауль задумался.

— Человек не становится плохим просто потому, что поверил в плохую идею.

— Вот.

— Возможно, становится тогда, когда перестаёт видеть людей, которым эта идея причиняет вред.

Грета замолчала. Марта посмотрела на сына. Эрнст сказал:

— Очень удобно иметь учителя за ужином.

Никто не рассмеялся.

Старая вывеска Самуэля лежала в подсобке.

S. Levi. Herren- und Damenschneiderei.

Марта увидела её однажды под тканью. Стёрла пыль с фамилии. Самуэль спросил:

— Ностальгия?

— Грязь.

— Ещё хуже.

Она вернула ткань. Фамилия никуда не исчезла. Её просто сняли со стены. Пока.

Глава 15. Кровь и бумага

Поздней осенью 1935 года Пауль получил заверенную церковную выписку о крещении своей бабушки.

Anna Katharina Winter, geboren 1861.

Он положил документ на кухонный стол. Эрнст прочитал.

— Поздравляю.

— С чем?

— Государство нашло твою бабушку.

Марта усмехнулась.

— Она умерла двадцать лет назад.

— Тем более достижение.

Пауль взял бумагу.

— Если бы запись потерялась, я бы, видимо, перестал быть собой.

— Не ты, — сказал Эрнст. — Бабушка.

— Очень утешительно.

Они засмеялись. Но Пауль снова посмотрел на печать. Последние месяцы происхождение человека всё чаще выглядело важнее самого человека.

Он быстро стал специалистом по документам. Свидетельства о рождении. Крещальные книги. Записи о браке. Деды. Бабушки. Приходы. Архивы. Бюрократия обладала удивительным свойством: даже абсурд становился привычным, когда для него существовала форма. В учительской Штольц разложил свои бумаги.

— Всё.

— Что?

— Доказал, что я — я.

Пауль посмотрел.

— Уверен?

— Не совсем. Нашёл прадеда возле Касселя. Его фамилию священник написал так, будто был пьян.

— Может, был.

— Очень помогает.

Они рассмеялись. За соседним столом Вебер не смеялся.

— Что у вас? — спросил Штольц.

Тот помолчал.

— Прадед был евреем.

Все затихли.

— Прадед? — уточнил Пауль.

— Да.

— Это дальше четырёх дедов и бабушек.

— Знаю.

— Тогда по нынешней классификации...

— Знаю.

Вебер раздражённо собрал бумаги.

— Только анкеты спрашивают всё дальше.

Пауль хотел успокоить. Не стал. Слишком часто в последние годы «пока это не важно» превращалось в «теперь важно». Он почувствовал стыдное облегчение, что его собственные документы складываются без проблем. Облегчение тоже было частью системы.

За завтраком Грета сказала:

— Я не понимаю, почему вы все так нервничаете из-за бумаг.

Марта подняла глаза.

— Потому что по ним решают права.

— Они просто определяют происхождение.

Пауль спросил:

— Для чего?

— Чтобы классифицировать.

— Для чего?

Грета раздражённо:

— Ну не знаю.

— Вот.

— Нет, не «вот»! Ты всё время придумываешь, что завтра обязательно будет что-то страшное.

— Я не придумываю.

— Придумываешь будущие злоупотребления.

Марта тихо сказала:

— Иногда, когда плохое уже здесь, говорить поздно.

Грета посмотрела.

— Что плохого сейчас?

Марта не ответила. Именно поэтому вопрос оказался тяжелее.

В мастерской Леви документы занимали половину стола. Самуэль раскладывал семейные свидетельства.

— Вот мой дед.

Грета, пришедшая к Мириам, наклонилась.

— Давид.

— Представь себе.

— А это?

— Эстер.

Фотографии. Записи. Дата брака. Место рождения. Человек жил семьдесят лет, растил детей, торговал тканью, болел, смеялся, ругался, а в форме оставалось несколько граф.

— Вы же и так знали, что вы евреи, — сказала Грета.

Самуэль поднял глаза.

— Конечно.

— Тогда что изменилось?

Он снял очки.

— Государство решило, какие права должны следовать из этого слова.

Грета молчала. Самуэль продолжил:

— Я был евреем, когда родился. Когда пошёл в школу. Когда учился портновскому делу. Когда служил. Когда женился. Когда родилась Мириам.

Он постучал по бумаге.

— Раньше это был один факт моей жизни.

Пауза.

— Теперь они хотят, чтобы этот факт решил остальное.

Грета не нашла ответа.

Позже Мириам попыталась объяснить иначе.

— Представь, государство решает, что права зависят от учителей в семье.

— Что?

— Просто представь.

— Глупо.

— Твой брат учитель. Значит, ты одна категория.

— И?

— А у Лизы отец почтовый служащий. Другая.

— Но профессия не передаётся по крови.

Мириам посмотрела.

— Именно.

— Это другое.

— Хорошо. Цвет глаз.

Грета вздохнула.

— Мириам.

— Я не пытаюсь доказать, что всё одинаково.

— А что?

— Объяснить, почему мне страшно.

Грета уже хотела сказать:

Пока ведь...

Остановилась. Мириам заметила.

— Спасибо.

— За что?

— Что не сказала «пока».

Фридрих Келлер задержался после урока.

— Господин Винтер.

— Да?

— Можно про документы?

Пауль сразу понял.

— Конечно.

Мальчик долго не начинал.

— Если одна бабушка была еврейкой...

Пауль ждал.

— Что тогда?

— Ты спрашиваешь о себе?

Фридрих кивнул.

— Какая бабушка?

— Мамина мать.

— Она состояла в еврейской религиозной общине?

— Раньше. Потом крестилась.

— Когда?

Фридрих назвал год. До рождения его матери. Пауль понимал, чего мальчик надеется услышать. Но по действующим правилам происхождение бабушки всё равно учитывалось.

— Для классификации её прежняя принадлежность к еврейской общине имеет значение.

Фридрих побледнел.

— Даже если потом нет?

— Да.

— Можно никому не говорить?

Вот вопрос.

— Родители что говорят?

— Отец говорит, надо написать. Мама — не надо.

— Я не могу решить за них.

— А за меня?

— Тем более.

Фридрих смотрел. Пауль добавил:

— Но бумага не меняет того, каким учеником ты был вчера.

Мальчик усмехнулся.

— Государству всё равно, какой я ученик.

Пауль почувствовал боль.

— Пока ты здесь, мне не всё равно.

Эрнст вечером сказал:

— Я бы скрыл.

— Что?

— Бабушку.

Пауль рассказал историю без имени.

— Это нарушение.

— Знаю.

— Если найдут документы...

— Знаю.

Эрнст посмотрел.

— Если работа и жизнь ребёнка зависят от того, что его бабушка молилась не там, где надо, я бы подумал не о форме.

Пауль молчал. Отец продолжил:

— Когда человеку всё время приходится выбирать между законом и совестью, проблема иногда не в человеке.

Марта посмотрела.

— Запиши. Редкий случай мудрости.

— Замолчи.

В январе 1936 года Пауль дал сочинение:

«Что определяет человека ? »

Тема казалась безопасной. Характер. Поступки. Воспитание. Среда. Можно было говорить о литературе. Фридрих написал иначе. В конце работы стояла фраза: «Если человека можно определить по его дедушке, которого он никогда не видел, тогда непонятно, зачем вообще нужно воспитывать самого человека». Пауль перечитал. Шестнадцатилетний мальчик сформулировал вопрос, на который взрослое государство уже дало свой ответ. Пауль взял ручку и написал:

Sehr gut. (Очень хорошо. — нем.)

Закрыв тетрадь. Фридрих оставался тем же учеником, каким был вчера. Пауль всё меньше верил, что новый государственный ответ имеет отношение к самому человеку.

На занятиях младших Грета тоже столкнулась с вопросом. Она рассказывала о семье, здоровье и наследственности. Одна девочка подняла руку.

— А если он еврей?

Грета не поняла.

— Кто?

— Человек.

— Что человек?

Девочка покраснела.

— Его нельзя любить?

В комнате стало тихо. Грета почувствовала, что Лотта стоит в дверях.

— Закон говорит о браке, — сказала она осторожно.

— А просто любить?

Грета посмотрела на ребёнка.

— Про чувства закон ничего не может приказать.

После занятия Лотта задержала.

— Красиво.

— Что?

— Ответ.

— Он неправильный?

— Младшим нужна ясная граница, а не философия.

Грета почувствовала злость.

— А если ты тоже не права?

Лотта замерла. Не накричала. Не обиделась.

— Тогда однажды ты решишь сама.

Пауза.

— Но пока руководишь младшими, помни: они принимают твои слова серьезнее, чем ты сама.

Это было разумно. Грета ненавидела, когда разумные слова приходили с той стороны, с которой она хотела спорить.

Весной в мастерскую начал приходить молодой мужчина. Клаус Бергер. Сын аптекаря. Двадцать с небольшим лет, хотя держался старше. Сначала принёс костюм. Потом пришёл уточнить рукав. Потом зачем-то ещё раз. Самуэль всё понял первым.

— Очень сложный рукав.

Мириам покраснела.

— Папа.

— Что?

— Ничего.

— Вот и я.

Клаус и Мириам знали друг друга ещё по школе. Теперь разговаривали дольше, чем требовал костюм. Роза заметила. И испугалась.

— Больше не надо.

— Что?

— Ты понимаешь.

Мириам вспыхнула.

— Мы просто разговариваем.

— Именно.

— Мама!

— Закон теперь не «просто».

Мириам рассказала Грете.

— Мама запрещает встречаться.

— С Клаусом?

— Да.

— Ты его любишь?

Мириам покраснела.

— Не знаю.

— Значит, да.

— Замолчи.

На несколько секунд они снова были обычными девушками. Потом Мириам сказала:

— Всё равно перестану.

— Почему?

— Потому что ему тоже могут создать проблемы.

— За что?

— За меня.

Грета почувствовала резкую злость.

— Это несправедливо.

Мириам посмотрела.

— Что?

Грета сказала увереннее:

— Закон. Потому что ты ничего плохого не сделала.

Это был первый раз, когда возражение появилось не как защита Мириам от чужой фразы.

Само. Её собственное. Мириам услышала. Ничего не сказала.

Клаус перестал приходить. Через несколько недель Грета встретила его возле аптеки.

— Клаус.

— Привет.

— Почему не заходишь к Леви?

Он понял сразу.

— Так лучше.

— Для кого?

— Для Мириам.

— Она так не думает.

— Зато я думаю.

— Очень удобно.

Клаус помолчал.

— Иногда самое доброе, что можно сделать для человека, — держаться от него подальше.

Грета смотрела. Она ненавидела закон за то, что эта фраза могла быть правдой.

Вечером она открыла методическую тетрадь. На старой странице стояло:

Можно любить отдельного человека и всё равно понимать, что интересы народа выше личного.

Грета смотрела. Потом перечеркнула одной линией. Ниже написала:

Я не знаю, где кончается общее и начинается чужая жизнь.

Долго держала ручку. Закрывает тетрадь. Спрятала в ящик. На следующий день пришла на занятие вовремя. Проверила форму. Провела младших строем. Помогла девочке с повязкой. Её первое настоящее несогласие ничего не разрушило. Грета пока ещё не знала, что сделает с ним. Поэтому просто спрятала его в ящик вместе с тетрадью.

Глава 16. Два языка

К весне 1936 года Пауль научился говорить так, чтобы одну и ту же фразу можно было услышать двумя способами. Сначала он этого не замечал. Навык появился постепенно, почти незаметно, как привычка закрывать окно перед уходом или проверять, не осталось ли чернил

на пальцах. В классе Пауль по-прежнему говорил о свободе, долге, совести, государстве, человеческом выборе. Но теперь чаще выбирал слова, которые можно было объяснить текстом произведения и только текстом.

Если герой выступал против большинства, Пауль спрашивал не о праве человека сопротивляться большинству, а о природе его внутреннего конфликта. Если пьеса рассказывала о несправедливом правителе, он не спрашивал, где заканчивается обязанность подчиняться власти. Он предлагал ученикам обсудить представление автора о справедливом управлении. Если речь заходила о совести, Пауль говорил о нравственном выборе персонажа. Всё оставалось. И всё становилось немного другим.

Он мог провести целый урок так, что Анна Бергер понимала один смысл, Руди Штамм — другой, Брандт, если заглядывал в класс, не находил ничего предосудительного, а сам Пауль вечером убеждал себя, что ничего важного не уступил. До одного февральского утра.

Директор Бремер вызвал его перед первым уроком. На столе лежало официальное письмо.

— Садитесь.

Пауль сразу спросил:

— Что случилось?

— Почему обязательно случилось?

— Обычно вы не приглашаете меня в половине восьмого обсудить погоду.

Бремер подвинул письмо.

— Через две недели окружная проверка.

Пауль прочитал.

— Кемпф?

— Да.

Фамилия была знакома. Тот самый чиновник окружного школьного управления, который незадолго до второго государственного экзамена спрашивал Пауля, почему он ещё не состоит в Nationalsozialistischer Lehrerbund — NSLB (Национал-социалистическом союзе учителей).

— Он будет у меня на уроке?

— Скорее всего.

— Почему?

Бремер посмотрел поверх очков.

— Потому что вы преподаватель.

— У нас их много.

— И потому что ваша фамилия всплывает чаще, чем мне хотелось бы.

Пауль замолчал.

— В каком смысле?

— Не драматизируйте. Никакого дела на вас нет.

— Обнадёживает.

— Есть несколько замечаний. Вы знаете.

— Брандт.

— Не только.

— Кто ещё?

— Пауль.

— Хорошо.

Бремер вздохнул.

— Инспектору интересна воспитательная сторона преподавания литературы.

— Уже хуже.

— Почему?

— Потому что я преподаю литературу.

— Именно это ему и интересно.

Пауль вернул письмо.

— Что вы хотите от меня?

Директор не ответил сразу.

— Хорошего урока.

— Я всегда провожу хорошие уроки.

— Это спорное утверждение.

Пауль улыбнулся. Бремер не поддержал.

— Я серьёзно.

Улыбка исчезла.

— Я тоже.

— Тогда на этот раз проведите урок так, чтобы после него мне не пришлось объяснять, что вы «просто задавали вопросы».

Пауль почувствовал раздражение.

— Какой именно урок вам нужен?

— Мне?

Бремер откинулся.

— Мне нужен ваш обычный урок. Кемпфу — не знаю.

— Очень полезно.

— Что вы хотите услышать?

— Правду.

Директор усмехнулся.

— В последние годы это ваш любимый способ усложнить любую задачу.

Пауль молчал. Бремер продолжил:

— Подберите текст без очевидных политических параллелей.

— Таких текстов почти нет.

— Есть.

— Детские сказки?

— Не язвите.

— Я не явлю.

— Я прошу вас всего один час не испытывать границы дозволенного.

Пауль посмотрел на него.

— А если сама литература их испытывает?

Бремер устало снял очки.

— Тогда в этот день выберите другую литературу.

Он выбрал Шиллера. Потом отказался. Выбрал Гёте. Тоже отказался. Клейст показался ещё хуже. Лессинг — почти прямой провокацией, хотя человек умер задолго до рождения любого из присутствующих. В конце концов Пауль остановился на стихотворениях о долге, личной ответственности и принадлежности человека обществу. Чем дольше готовил урок, тем смешнее становилось. На бумаге всё выглядело безупречно. «Ответственность личности перед общностью». «Нравственное воспитание».

«Национальная литературная традиция». «Долг». «Самодисциплина». Пауль перечитал план. Если бы его увидел Брандт, вероятно, одобрил бы. Самое неприятное заключалось в том, что содержание урока действительно ему нравилось. Он не считал долг плохим словом. Не отрицал общество. Не считал человека существом, обязанным думать исключительно о себе. Он верил в ответственность. Верил в необходимость иногда жертвовать личным удобством ради других.

Только всё чаще замечал: те же слова употребляли люди, которые вкладывали в них совсем другое. Получалось, они спорили не о словах. О границах их смысла.

Вечером Пауль готовился на кухне. Грета вошла, увидела записи и села напротив.

— Что это?

— Урок.

— Выглядит как партийная речь.

Он поднял глаза.

— Спасибо.

— Правда.

Она взяла лист. Пауль не остановил.

— «Ответственность личности перед народным сообществом».

Она посмотрела.

— Ты это написал?

— Я.

— Добровольно?

— Почти.

Грета засмеялась.

— Наконец-то.

— Что?

— Исправился.

— Ещё нет.

Она читала дальше.

— «Личная свобода не означает освобождения от долга перед другими».

— Ужас, правда?

— Вообще-то нет.

— Вот и я думаю.

Грета отложила лист.

— Тогда в чём проблема?

— Ни в чём.

— Врёшь.

Пауль улыбнулся.

— К нам приезжает инспектор.

— А.

— Вот.

— И ты специально написал так, чтобы ему понравилось.

Фраза оказалась неприятно точной.

— Я написал то, с чем согласен.

— Тогда почему смущаешься?

Он задумался.

— Потому что знаю, как он это услышит.

Грета нахмурилась.

— Как?

— Иначе, чем я.

— Но слова одни.

— Именно.

Она посмотрела на план ещё раз.

— Не понимаю.

Пауль взял карандаш.

— Например: «человек обязан ставить общее выше личного».

— Хорошо.

— Ты согласна?

— Да.

— Всегда?

Грета закатила глаза.

— Началось.

— Ответь.

— Нет. Наверное, не всегда.

— Когда нет?

Она задумалась.

— Когда общее требует чего-то неправильного.

— Хорошо.

— И?

— А если человек, который слушает эту фразу, считает, что само решение государства автоматически выражает общее благо?

Грета поняла.

— Тогда он услышит другое.

— Да.

— Но ты же можешь объяснить.

— Инспектору?

Она улыбнулась.

— Лучше не надо.

Они оба рассмеялись. Потом Грета сказала:

— Значит, ты собираешься обмануть его?

Пауль перестал улыбаться.

— Нет.

— Получается.

— Я не скажу ничего, во что не верю.

— Но хочешь, чтобы он понял иначе.

Пауль молчал. Грета неожиданно выглядела довольной.

— Теперь ты тоже делаешь как все.

— Это должно меня успокоить?

— Не знаю.

Она встала. У двери остановилась.

— Просто не говори потом, что это только они используют правильные слова для неправильных вещей.

И ушла. Пауль остался перед своим безупречным планом.

Кемпф приехал во вторник. Тёмное пальто. Аккуратно уложенные волосы. Небольшой партийный значок. Он был настолько обычен, что это всякий раз удивляло Пауля. В чиновнике не было ничего угрожающего. Он не повышал голос. Не пытался запугивать. Разговаривал вежливо, иногда шутил, помнил фамилии преподавателей. Именно такие люди делали систему особенно устойчивой. Бремер представил его молодым учителям. Когда очередь дошла до Пауля, Кемпф улыбнулся.

— Господин Винтер. Мы встречались.

— Да.

— Теперь уже полноправный преподаватель.

— Благодаря вашей благосклонности.

Фраза прозвучала чуть двусмысленно. Бремер бросил быстрый взгляд. Кемпф, кажется, не заметил.

— Не только нашей. У вас были хорошие оценки.

— Спасибо.

— Сегодня загляну на ваш урок.

— Буду рад.

Пауль произнёс это достаточно убедительно. И сам отметил.

В классе сидели двадцать восемь учеников. Анна сразу заметила незнакомого взрослого. Руди тоже. Кемпф занял место на последней парте. Там, где когда-то сидел Фабер. Это раздражало больше всего. Пауль положил книгу на стол. Начал. Первые десять минут прошли отлично. Ученики отвечали. Текст позволял говорить о долге. Руди сказал:

— Человек не может делать всё, что хочет, потому что живёт среди других.

— Хорошо.

Пауль написал на доске:

Pflicht. (Долг. — нем.)

— Что делает долг нравственным?

Анна подняла руку.

— То, что человек выполняет его добровольно.

— Почему?

— Иначе это принуждение.

Руди возразил:

— Солдату приказывают. Он тоже выполняет долг.

Пауль почувствовал, как внутри всё напряглось. Тема пришла сама. Кемпф сидел с блоком.

— Хорошо, — сказал Пауль. — Значит, добровольность не всегда обязательна.

Анна спросила:

— Тогда любой приказ — долг?

Вот он. Обычный Паулев класс. И обычная опасность. Он мог уйти. Сказать: «Мы обсуждаем текст». Вернуться к стихотворению. Вместо этого спросил:

— Как вы думаете?

Руди ответил первым:

— Если приказ законный.

Пауль кивнул.

— Хорошо.

Анна сказала:

— А если человек считает его неправильным?

Тишина. На последней парте Кемпф поднял глаза от записей. Пауль видел. Ещё год назад он продолжил бы: Кто решает? Сегодня сказал:

— Именно поэтому общество создаёт законы и обязанности, которые не должны зависеть только от личного желания отдельного человека.

Кемпф записал что-то. Руди кивнул. Анна смотрела на учителя. Пауль не выдержал её взгляда. Продолжил:

— Но литература интересна нам как раз потому, что показывает случаи, когда общая норма сталкивается с внутренним убеждением героя.

Вот. Вернул. Очень осторожно.

— Наша задача — понять не только, что герой делает, но и почему он считает свой выбор нравственным.

Анна медленно кивнула. Урок пошёл дальше. К концу Пауль успокоился. Он говорил хорошо. Даже очень. Разбирал композицию. Цитаты. Характер. Роль долга. Личную ответственность. Последний вопрос сформулировал почти идеально:

— Значит ли принадлежность к общности, что человек перестаёт отвечать за собственные решения?

Руди сказал:

— Нет.

Анна тоже. Фридрих Келлер неожиданно добавил:

— Иначе можно было бы во всём обвинять общность.

Пауль почувствовал, как внутри что-то дрогнуло. Кемпф снова записал. Прозвенел звонок.

После урока инспектор пожал Паулю руку.

— Очень достойно.

— Спасибо.

— Живое обсуждение.

— У них хороший класс.

— Вы умеете направлять.

Пауль услышал слово.

— Стараюсь.

Кемпф перелистал записи.

— Особенно понравилось, как вы связали личную ответственность с обязанностью перед общностью.

Пауль почувствовал почти физическое неприятие. И одновременно облегчение.

— Рад.

— Это именно то, чего часто не хватает молодым преподавателям.

— Что именно?

— Они либо уходят в индивидуализм, либо превращают воспитание в лозунг.

Пауль посмотрел внимательнее. Кемпф продолжил:

— А у вас хороший баланс.

Это было почти смешно. Инспектор хвалил его именно за то, за что Брандт раньше критиковал.

— Спасибо.

— Единственное...

Вот теперь.

— Да?

— Осторожнее с абстрактными моральными дилеммами.

Пауль едва не рассмеялся.

— Почему?

— Подростки любят превращать исключение в правило.

— Понимаю.

— Сначала им нужна твёрдая нравственная основа.

Где-то Пауль уже слышал это. Брандт. Лотта через Грету. Одна и та же мысль путешествовала по разным помещениям.

— Учту.

— Хорошо.

Кемпф улыбнулся.

— У вас хорошие перспективы, господин Винтер.

И пошёл к следующему классу. Бремер дождался, пока тот уйдёт. Посмотрел на Пауля.

— Видите?

— Что?

— Вы умеете.

— Что именно?

— Не создавать себе проблем.

Пауль неожиданно почувствовал злость.

— Вы довольны?

Директор нахмурился.

— А должен быть недоволен?

— Нет.

— Тогда почему такой тон?

Пауль хотел сказать: Потому что я провёл урок для Кемпфа, а не для детей. Не сказал. Бремер понял и без слов.

— Не начинайте.

— Я ничего.

— Вот это уже хуже ваших вопросов.

Он ушёл.

Анна ждала в коридоре. Пауль увидел и почти обрадовался.

— Что?

Она не ответила сразу.

— Хороший урок.

— Спасибо.

— Инспектору понравилось?

— Похоже.

— Я заметила.

Пауль собрал книги. Анна продолжала стоять.

— Ещё что-нибудь?

— Да.

— Говори.

Она смотрела прямо.

— Сегодня вы говорили как господин Брандт.

Пауль замер.

— Что?

— Не совсем.

— Тогда зачем сказала?

— Потому что сначала так показалось.

— Когда?

— Когда я спросила про неправильный приказ.

Пауль почувствовал жар.

— Я ответил не так, как Брандт.

— Потом.

— Анна.

— Я не осуждаю.

От этого стало ещё хуже.

— Я просто заметила.

Пауль положил книги.

— Что именно ты заметила?

Она задумалась.

— Что сначала вы посмотрели на инспектора.

Он хотел возразить. Не смог.

— И?

— И ответили ему.

— Я отвечал тебе.

Анна покачала головой.

— Нет.

Тишина. Пауль почувствовал желание разозлиться. На ученицу. За дерзость. За то, что она наблюдает слишком внимательно. За то, что шестнадцатилетняя девочка позволяет себе оценивать его честность. Потом понял: злиться, потому что она права.

— Возможно, — сказал он.

Анна удивилась.

— Правда?

— Да.

— Почему?

— Потому что я хочу сохранить работу.

Фраза прозвучала почти грубо. Она молчала.

— И потому что я не хочу, чтобы директор получал неприятности из-за меня.

— Понятно.

— Нет.

Пауль усмехнулся.

— Мне самому не очень понятно.

Анна взяла портфель.

— Я всё равно поняла, что вы хотели сказать.

Вот теперь он посмотрел резко.

— Что?

Она улыбнулась.

— Что приказ не освобождает человека от ответственности.

Пауль почувствовал страх.

— Я этого не говорил.

— Я знаю.

— Анна.

— Я никому...

Он поднял руку. Она остановилась. Оба вспомнили прежний разговор. Никогда не проси ученика хранить политический секрет учителя. Пауль сказал:

— Именно поэтому лучше не заканчивай эту фразу.

Анна кивнула.

— Хорошо.

Пошла. У двери обернулась.

— Значит, два урока одновременно.

— Что?

— Один для инспектора. Другой для нас.

Она вышла. Пауль остался. Два урока. Вот как это называлось.

Вечером он пошёл к Фаберу. Без предупреждения. Старик открыл дверь в домашних тапочках и жилете.

— Вы?

— Разочарованы?

— Я надеялся на кредитора. Проходите.

Квартира была заставлена книгами. После ухода из школы Фабер не стал выглядеть старше. Скорее спокойнее.

— Чай?

— Да.

— Значит, случилось что-то серьёзное.

— Почему?

— Обычно вы выбираете кофе.

Пауль рассказал об инспекции. Почти всё. Не назвал Анну сначала. Потом назвал. Фабер слушал, не перебивая. Когда закончил, спросил:

— И чего вы хотите от меня?

— Не знаю.

— Прекрасно.

— Сказать, что я трус.

— Зачем?

— Потому что так проще.

Старик налил чай.

— Нет.

— Почему?

— Потому что трус не мучился бы.

— Очень утешительно.

— Я не утешаю.

Фабер сел.

— Вы хотите знать, где заканчивается разумная осторожность и начинается ложь?

Пауль посмотрел.

— Да.

— Не знаю.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Старик улыбнулся.

— Вы всё ещё думаете, что возраст автоматически приносит ответы.

— Хотя бы опыт.

— Опыт приносит больше примеров неправильных ответов.

Пауль вздохнул.

— Я говорил правду.

— Хорошо.

— Но говорил так, чтобы инспектор слышал то, что хотел.

— Тоже бывает.

— Значит, лгал?

— Нет.

— Тогда почему мне мерзко?

Фабер задумался.

— Потому что вы теперь отвечаете не только за смысл слов.

— А за что?

— За то, кто их услышит.

Пауль молчал.

— Раньше вы произносили мысль и считали свою обязанность выполненной. Теперь заранее представляете три возможных толкования.

— Именно.

— Это взросление.

— Очень плохая реклама взрослой жизни.

Фабер усмехнулся.

— Иногда ещё и трусость.

— Вот.

— Не радуйтесь.

Старик отпил чай.

— Одно не отменяет другого.

— Как понять разницу?

— По тому, что вы перестаёте говорить даже тогда, когда можете.

Пауль вспомнил мать. Почти те же слова.

— А если нельзя понять, можешь или нет?

— Тогда решаете.

— И опять всё на человеке.

— А на ком?

Фабер пожал плечами.

— Вы почему-то всё ждёте учреждения, которое выдаст вам справку о нравственной допустимости компромисса.

Пауль рассмеялся.

— Было бы удобно.

— Именно поэтому такого учреждения не должно существовать.

Весной разговоры в городе изменились. Седьмого марта немецкие войска вошли в Рейнскую демилитаризованную зону. Для Эрнста новость оказалась важнее школьных споров сына. Он слушал радио стоя. Пауль сидел рядом. Грета вошла позже.

— Что случилось?

— Рейнская область, — сказал отец.

— Что?

— Наши войска вошли.

Она улыбнулась.

— Хорошо.

Эрнст не ответил. Пауль спросил:

— Ты против?

Отец долго смотрел на радиоприёмник.

— Не знаю.

— Версаль?

— Версаль я ненавижу.

Он сказал это без колебаний.

— Ещё с девятнадцатого года.

Грета села.

— Вот видишь.

— Что?

— Даже ты признаёшь.

— Что признаю?

— Что Гитлер возвращает Германии то, что у неё отняли.

Эрнст повернулся.

— Не превращай одно в другое.

— Почему?

— Потому что я могу радоваться, что немецкие солдаты стоят на немецкой земле, и всё равно не обязуюсь любить всё остальное.

Грета посмотрела на Пауля.

— Слышишь?

— Что?

— Папа научился твоему «иногда».

Эрнст усмехнулся.

— Отстаньте оба.

Но в тот вечер настроение отца было необычно хорошим. Он достал бутылку, которую берег с Рождества. Марта удивилась.

- С чего?
- Просто.
- Ты же сказал, что не знаешь, радоваться или нет.
- Я не знаю политически.
- А неapolитически?
- Эрнст открыл бутылку.
- Неapolитически я немец.

Пауль слышал. Вот ещё один язык. Не школьный. Не партийный. Человеческий. И он понимал отца. Именно это было сложнее всего. Некоторые действия режима отвечали настоящим унижениям и настоящим желаниям миллионов немцев. И поэтому всё остальное нельзя было объяснить только страхом или пропагандой. Люди получали то, чего действительно хотели. Работу. Национальную гордость. Порядок. Отмену унижительных ограничений. А вместе с этим принимали вещи, которые несколько лет назад могли бы отвергнуть.

Пакет никто не предлагал разделить.

Грета тоже была счастлива. На занятии Лотта говорила о восстановлении германского достоинства. Не кричала. Не требовала ненависти к Франции. Просто рассказывала о стране, которую больше нельзя унижать. Грета слушала и чувствовала гордость. После занятия Лиза сказала:

- Мой отец говорит, теперь нас снова уважают.
- Мой тоже рад.
- Даже он?
- Да.
- Тогда всё. Победа окончательная.

Они засмеялись. Грета почти сказала: Пауль не рад. Но не знала. Брат не спорил дома. Только слушал. Может быть, тоже радовался. Просто не хотел признавать. Эта мысль понравилась. Она позволяла представить, что семья всё ещё находится на одной стороне хотя бы в некоторых вещах.

Летом вся Германия заговорила об Олимпийских играх. Даже Марта, совершенно не интересовавшаяся спортом, знала расписание соревнований. Грета следила почти за всем. Руди Штамм пришёл в школу после каникул с газетными вырезками. Эрнст спорил о результатах. В витринах появились олимпийские символы. По радио рассказывали об иностранных спортсменах и гостях. Страна старалась выглядеть праздничной. И действительно выглядела. Грета однажды сказала:

- Вот теперь иностранцы увидят, какая Германия на самом деле.

Пауль поднял глаза.

- А до этого они что видели?

- Пропаганду.

Он чуть не рассмеялся.

- Чью?

- Иностранную.

- Разумеется.

Она заметила тон.

- Ты можешь хоть раз просто порадоваться?

- Я радуюсь спорту.

- Удивительно.

- Иногда даже людям.

- Редко.

Марта вмешалась:

- Оставьте Олимпиаду в покое. Она вам ничего не сделала.

Изменения заметил Самуэль. Не по радио. На улице. Однажды Марта пришла в мастерскую, и он спросил:

— Ты видела?

— Что?

— Табличку возле купальни.

— Какую?

— Нет её.

— И?

— Ещё месяц назад висела.

Марта поняла не сразу. Потом вспомнила. Надпись, сообщавшая, что евреям вход нежелателен.

— Сняли?

— Да.

— Почему?

Самуэль широко улыбнулся.

— Наверное, внезапно полюбили.

Роза сказала:

— Не начинай.

— Я счастлив.

— Самуэль.

Он развёл руками.

— Что? Международное братство народов.

Марта посмотрела.

— Из-за Олимпиады?

— Видимо.

— Здесь же не Берлин.

— Иностранцы умеют ездить поездами.

Роза раздражённо сказала:

— Может, просто сняли.

Самуэль повернулся.

— Конечно.

Он снова взял ткань. Марта молчала. Потом спросила:

— Тебе лучше, если её нет?

Самуэль задумался.

— Да.

Ответ удивил.

— Даже если временно?

— Конечно.

Он посмотрел на неё.

— Если человек перестал плевать тебе в лицо только потому, что рядом гости, всё равно приятно, что сегодня не плюёт.

Роза закрыла глаза.

— Ты можешь говорить нормально?

— Могу.

Самуэль снова стал серьёзен.

— Только это не значит, что завтра он не продолжит.

Марта ничего не ответила.

Через несколько дней Грета рассказала об этом Паулю.

— Самуэль опять язвит.

— На что?

— Говорит, таблички снимают специально для иностранцев.

Пауль посмотрел.

— Возможно.

— Почему ты сразу ему веришь?

— Не верю сразу.

— Но тебе нравится.

— Что?

— Любое объяснение, где государство выглядит хуже.

Фраза была точной. Пауль почувствовал раздражение.

— А тебе нравится обратное.

— Нет.

— Да.

— Я хотя бы не считаю всех лжецами заранее.

— И я не считаю.

— Тогда почему?

Пауль остановился. Потому что действительно иногда уже искал второе дно прежде, чем видел первое. Грета заметила.

— Вот.

Он усмехнулся.

— Что «вот»?

— Ты тоже можешь быть несправедливым.

— Конечно.

Она даже растерялась.

— И всё?

— А что?

— Не будешь спорить?

— Нет.

— Почему?

Пауль улыбнулся.

— Хочу тебя расстроить.

Она засмеялась. И напряжение исчезло. Потом он сказал:

— Но если табличку сняли только на время игр, Самуэль будет прав.

— А если не вернут?

— Тогда я ошибся.

— Признаешь?

— Да.

— Запомню.

В августе семья несколько вечеров подряд слушала олимпийские репортажи. Грета переживала за немецких спортсменов. Эрнст неожиданно увлёкся лёгкой атлетикой. Марта болела за всех, чьи фамилии успевала запомнить. Пауль в основном проверял работы, но временами тоже откладывал ручку. Громкие стадионы. Музыка. Аплодисменты. Иностранные языки. Спортсмены из десятков стран. На несколько недель казалось, что Германия действительно стала просто страной среди других стран. Мир приехал в Берлин.

И ничего страшного не произошло. Для Греты это было доказательством. Однажды она сказала:

— Если бы всё было так, как пишут за границей, они бы не приехали.

Пауль поднял голову. Аргумент был простым. И сильным.

— Возможно.

— Что «возможно»?

— Именно то.

— Почти пятьдесят стран.

— Знаю.

— Значит, они признают Германию.

— В каком-то смысле.

— Опять.

Эрнст вмешался:

— Оставь брата. Он без «в каком-то смысле» задохнётся.

Все засмеялись. Пауль тоже. Но ночью долго не спал. Потому что Грета была права хотя бы в одном. Олимпиада действительно давала миллионам людей ощущение нормальности. Не только немцам. Иностранцам тоже. Если страна принимает спортсменов, играет музыку, строит стадионы, улыбается гостям и печатает красивые фотографии — насколько плохой она может быть? Вопрос был наивным. Но человеческим.

В сентябре табличка возле купальни появилась снова. Марта увидела первой. На следующий день рассказала за ужином. Грета перестала есть.

— Та же?

— Почти.

— Ты уверена?

— Я умею читать.

Пауль ничего не сказал. Грета посмотрела на него.

— Ну?

— Что?

— Говори.

— Не хочу.

— Конечно, хочешь.

— Нет.

— Ты оказался прав.

Пауль отложил вилку.

— Я не рад.

— Но прав.

— Похоже.

Она раздражённо спросила:

— Почему сняли?

— Возможно, Самуэль тоже оказался прав.

Грета молчала. Марта сказала:

— Чтобы иностранцы не видели.

— Но зачем?

Эрнст посмотрел на дочь.

— Как зачем?

— Если считают правильным, почему прятать?

Никто не ответил сразу. Именно этот вопрос оказался важнее самой таблички. Грета повторила:

— Если правильно, зачем стесняться?

Пауль очень хотел вмешаться. Сказать. Объяснить. Подвести к выводу. Не стал. Пусть вопрос останется её. Марта тоже молчала. Эрнст наконец сказал:

— Может, потому что иностранцы не поняли бы.

— Тогда им надо объяснить.

Отец пожал плечами.

— Видимо, решили, что проще снять.

Грета смотрела в тарелку.

— Это нечестно.

Пауль почувствовал движение внутри.

— Что именно?

Она подняла глаза.

— Делать одно, а гостям показывать другое.

— Да.

Одно короткое слово. Без урока. Без победы. Грета услышала.

Осенью Пауль стал замечать ещё одну вещь. Разница между его языками больше не всегда зависела от страха. Иногда от удобства. С коллегами он говорил:

— Воспитательная задача школы.

Дома:

— Они опять лезут в уроки.

Перед Бремером:

— Постараюсь учитывать рекомендации.

С Фабером:

— Постараюсь сделать так, чтобы рекомендации не испортили текст.

На совещании Nationalsozialistischer Lehrerbund — NSLB (Национал-социалистического союза учителей):

— Национальная литература формирует сознание принадлежности к народу.

На уроке:

— Хорошая литература позволяет человеку увидеть мир глазами другого.

Обе фразы он считал правдивыми. И всё-таки постепенно возникал вопрос: какой из этих Паулей настоящий? Раньше ответ казался очевидным. Тот, который дома. Потом — тот, который в классе. Теперь он уже не был уверен. Человек, который ежедневно надевает маску, со временем перестаёт чувствовать её края.

Однажды в учительской Брандт попросил его помочь подготовить школьное литературное мероприятие. Пауль удивился.

— Меня?

— Вы преподаватель литературы.

— Два года понадобилось, чтобы заметить?

— Винтер.

— Хорошо. Что надо?

Брандт протянул программу. Вечер немецкой поэзии. Классики. Народные песни. Тексты о земле, долге, доме, войне, отечестве. Пауль листал.

— Неплохо.

Брандт поднял брови.

— Вы сейчас заболели?

— Грета уже спрашивала.

— И?

— Пока жив.

Брандт улыбнулся.

— Значит, участвуете?

— Да.

— Без поправок?

— Нет.

— Вот.

Пауль указал на один текст.

- Это убрать.
- Почему?
- Плохое стихотворение.
- Оно патриотическое.
- Это не лечит плохую поэзию.

Брандт рассмеялся.

- Наконец спор, который я понимаю.

Они почти час выбирали произведения. Спорили. Иногда соглашались. В какой-то момент Пауль поймал себя на том, что ему интересно. Брандт знал литературу хуже Фабера, но лучше, чем Пауль привык считать. У него были любимые авторы. Собственные вкусы. Он ненавидел сентиментальность. Прекрасно знал некоторые исторические баллады. Пауль вдруг снова увидел не партийца. Коллегу. Это тоже было опасно по-своему. Потому что упрощать противника было удобно. С человеком всегда труднее.

После работы они вышли вместе. Брандт сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.